

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
I.	
Тихая ночь . . . . .	7
Ласточка . . . . .	32
Письмо о березках . . . . .	55
Не обойтись . . . . .	61
Звонок по телефону . . . . .	69
Из-за фиалок . . . . .	72
Казачья невеста . . . . .	83
Тетушка-мельница . . . . .	96
II.	
Копилка времени . . . . .	115
Лесная почта . . . . .	131
Лоскутница . . . . .	136
Звездный гвоздик . . . . .	143
Глаза короля . . . . .	151

## Л а с т о ч к а

— Это все? — спросила баронесса, вынимая из машинки дописанный лист. Привычным движением поправила стопку бумаги, лежавшую сбоку, и взглянула на накаленные солнцем пыльные стекла. За стеной трещали другие машинки. В голом и неуютном редакционном кабинете пахло горячей летней пылью, табачным дымом и старыми газетами.

Семен Яковлевич просмотрел конец статьи, бросил страницу на стол, откинулся в кресле и закурил.

— Я думал, что до ночи не окончу... сегодня обедали в Римском погребе — ну, выпили, конечно... Но с вами всегда быстрее идет. Марья Михайловна, если ей попадется какоенибудь ученое слово, так она два раза переспросит, а в третий раз наврет, при всем моем к ней уважении... Но вас я уважаю больше, и даже спрашиваю себя иногда, за что? Я не психолог, я просто юрист, но насмотрелся на людей. А вы... ну, хорошая машинистка, ну, образованы, спокойный характер. Как женщина вы недурны, и вкус у вас есть, и эти ваши серо-голубые тона вам к лицу, свой стиль, но красавицей вас не назовешь. Что еще можно прибавить? Яхту? Для вашей бабушки это было бы оригинально, но теперь спортсменок сколько угодно. Вы очень порядочная женщина, с этим никто спорить не станет, но разве я мало знаю порядочных женщин? А отношусь я к вам иначе, чем к другим, и почему? Остается еще одно: титул. Но позвольте спросить вас, что же это значит теперь?

Семен Яковлевич еще больше откидывается в кресле, вытягивает ноги и засовывает руки в карманы. У него умное, горячее лицо, только брови слишком резки и навязчивы, как у плохо загримированного актера. Он ожесточенный резонер и любит философствовать.

— Может быть потому, — задумчиво отвечает баронесса, — что вы и многие другие, привыкли ждать от нас, бывших привилегированных людей иррациональных поступков. Вы современны. Вы рациональны. И может быть именно потому вам хочется, чтобы не все были такими, как вы! Может быть именно потому вам хочется, чтобы баронесса Керн поступала вопреки вашему здравому, практическому смыслу, вопреки логике, в ущерб себе, и только потому, что даже нищий король должен быть верен своей короне.

— Это же парадокс, баронесса! Но, может быть, вы и правы. Может быть!

Баронесса улыбнулась и ввернула под валик чистый лист. В дверь просунулась голова другого сотрудника.

— Вы свободны? Значит начнем: «Пятого июня. Лондон. Как сообщают из вполне осведомленных источников, в ближайшее время предполагается...»

Ни в самой баронессе, ни в ее жизни не было ничего особенного. Хорошая, тихая, скромная середина, может быть, даже слишком — середина. Баронесса часто думала об этом, по дороге. Она всегда ходила в редакцию и домой по одним и тем же улицам: широкий липовый бульвар с высокой папертью византийского собора, узкая кривая улочка старого города, звенящие от ветра пролеты моста через мутные волны Двины, запах пристани, мокрого дерева и смолы над тихими садиками Задвинского предместья — и своя калитка.

Сад и уютный провинциальный домик достались в наследство от тетки — очень кстати после революции. Впрочем, до революции у них тоже было немного — последнее родовое имение в Курляндии было проиграно в карты еще дедом, а отец, лихой моряк, тратил все что мог, на яхты. Как только его миноносец входил в порт, так уже часа через два «Ласточка», любимая яхта, резала носом двинскую зыбь, выходя в море. Иногда он брал с собой дочь, и она тоже полюбила воду. Потом, когда отец погиб у Колчака, и они поселились с матерью в теткинском домике, «Ласточка», старая, но прочная и легкая на ходу, стала единственной подругой.

Мать вела хозяйство, она училась. Сперва гимназия, потом машинка, потом поступила в редакцию. Одна знакомая, имевшая мастерскую, научила ее ткать персидские ковры — в свободное время. Жалованье в редакции было не очень большое, и два-три ковра в год служили хорошим подспорьем. Вот и весь внешний ход ее жизни.

Сама жизнь была такой же скромной, приличной и простой. Зимой домик заметало сугробами, летом в окна тянулись сирень и жасмин. Каждый день выходил свежий номер газеты — захлебывающаяся торопливость однодневной мухи. Важно только то, что должно пойти сегодня, завтра это теряет смысл. Машинка, диктовка, разные голоса, акценты, лица — и всегда одно и то же.

У нее была недорогая шубка, несколько раз в год шились платья. Зимой ходила по вечерам в театр, концерты, кино, читала. Весной надевала рабочий костюм и конопатила, красила, лакировала свою любимицу. Иногда навязывалась шумная компания знакомых, но обычно она уходила одна по Двине, на взморье. На палубе сразу обвевал ветер, сдувал типографский налет. Баронесса четко и ловко управлялась с парусами, глаза блестели, энергичный вызов молодил лицо. В штиль хорошо было лечь на палубе, закинуть руки за голову, смотреть, чуть прищурившись, на горизонт. Солнце так сверкало, что казалось — вот-вот сейчас должно выплыть огненным шаром настоящее, огромное, небывалое счастье.

А может быть, это счастье появится вдруг из-за такого знакомого поворота улицы? Вот за этим домом — или за тем? И что это: счастье?

Мысли не перебивают обычного, выработанного шага. Мало ли что думается, когда идешь по улицам. Иногда она подолгу рассматривает себя в зеркало: какой ее видят другие? И видно: ничего особенного. Да, стройная фигура, но от парусов и ткацкого станка чуть грубоваты руки, голова кажется слишком маленькой от тонких и не густых, зализанных в старомодной прическе волос. Не красива и не урод — просто неинтересна. Она любит серые и голубые пастельные тона, в редакции это называется «цвет баронессы», но все платья кажутся слишком одинаковыми, если не приглядеться. А кто будет приглядываться?

Она не пьет, не курит, и на вечеринки к знакомым ее приглашают редко, а для больших балов нет туалетов. Знакомых много, и у нее со всеми хорошие отношения, но слова и улыбки, и взгляды скользят мимо, как проплывающие берега. Ею не

интересуются. А ей так хотелось бы узнать, в чем заключается этот особый, повышенный интерес к жизни, это счастье из всех настоящих романов. Кому же это сказать?

Мечтают в жизни все. В пятнадцать лет — героические подвиги, великие и смутные, фильмовые герои, и невероятное счастье должно быть, потому что иначе не может. В двадцать и дальше радуга блекнет и тверже упирается в землю. Мечтают добиться поставленной уже цели, и, конечно, о любви: настоящее, глубокое, серьезное чувство. Бывает же оно у других — а впереди еще много времени и сил.

В тридцать лет мечта становится судорожной и острой — от боязни упустить и не заметить чего то, самого главного; хочется не надеяться больше, перестать мечтать, добиться, наконец, если не всего — то хоть скольконибудь!

А потом уже, в сорок — мечта становится воспоминанием — о том, что могло бы быть, если бы все сложилось иначе. Неудачное прошлое сжимается в горький комочек страшного слова «бы», ибо те, у кого этого «бы» нет, счастливые люди, и им нечего мечтать.

А так — все, всегда...



Когда баронесса смотрела в зеркало, в глазах матери появлялась тревога. Раньше как то легче — и раньше! — выходилось замуж. Баронесса только пожимала плечами в ответ на осторожные намеки. Что ж — ей двадцать восемь лет — останется старой девой, не судьба. Или недостаток темперамента — в сущности одно и то же.

Когда Веневитинов пришел вместе с председателем армянского общества, покупавшим ковер, баронесса радушно предложила выпить кофе по турецки. Ковер был продан очень удачно, старый знакомый не торговался. Веневитинова она знала только по сцене, и вблизи он оказался таким же: слегка седеющий джентельмен, слишком сухой для героя-любовника и слишком характерный для ролей благородных отцов. Спокойные уверенные манеры хорошо воспитанного и знающего себе цену человека, и очень красивый, прекрасно разработанный голос мастерского декламатора. Он не был кумиром гимназисток, но зато незаменимым партнером в бридж. На сцену пошел не столько по призванию, сколько по честолюбию. «Единственная возмож-



ность в наше время поддержать блеск старого имени — на сцене» — говорил он, и для среднего актера был слишком интеллигентен.

В следующее воскресенье счел нужным извиниться за деловой повод первого посещения и преподнес баронессе несколько чайных роз. Воскресный пирог был особенно удачен, чаепитие затянулось. Говорили о театре. Визиты Веневитинова стали повторяться.

Так начался роман: вспыхивающие улыбки, вздрагивание голоса, затуманенная нежность взгляда, встречи, прогулки, букетики фиалок и роз, стихи и рассказы о детстве, словом все, что полагается в романах.

Не было только одного: любви.

Брак баронессы был очень хорошим, приличным браком. Мать умиротворенно помолилась, и переехала в самую маленькую комнатку, оставшись вести хозяйство, о чем ее просил Веневитинов.

— Вы, конечно, согласитесь, — говорил он, целуя ей руки — что лучше всего, если все останется по старому. После меблированных холостых комнат хочется, знаете ли, настоящего семейного уюта, тишины. Кроме того, моя жена может, конечно, не работать, но я не думаю, что она сама захочет отказаться от своей самостоятельности — что ж поделаешь с современной молодежью!

В разговорах с матерью и дочерью Веневитинов всегда подчеркивал свой возраст и седые виски. Подчеркивал он и многое другое — а больше всего свои взгляды и привычки, которые конечно, уже поздно менять в его годы. Но никто и не думал противоречить.

Он был вполне доволен. Жена никогда не просила у него денег сверх его доли в хозяйстве — а семейная жизнь обходилась дешевле холостой. Для актера, которому надо иметь гардероб и показать тон там, где нужно — это очень важно. Приятно также иметь хоть и небольшой, но собственный домик, и притом дом, где считаются с его вкусами. Сравнивая свою семейную жизнь с другими актерскими семьями, он каждый раз гордился своим выбором. Его жене не придет в голову обзавестись кучей детей с пеленками и ревом, устраивать истерики, если он посидел в ресторане или за бриджем, ревновать к актрисам и влюбленным гимназисткам. Она недурна, достаточно молода, умеет одеться и не слишком темпераментна — что тоже, откровенно говоря, было бы не слишком желательно в его годы — и после его молодости...

Баронесса — по старой привычке все продолжали называть ее так — тоже не могла пожаловаться на мужа. Он был всегда любезен и вежлив, особенно при посторонних. Дома они встречались мало. Она работала днем в газете, а вечером он играл в театре. Иногда помогала учить роли, подавала реплики. Актеров он приглашал к себе с большим выбором и редко — к растрепанной и разухабистой богеме относился покровительственно, но свысока, предпочитая знакомства с более состоятельными и солидными людьми. Узнав, что в театре его называют «дрессированной змеей» — баронесса улыбнулась, и то, что она не обиделась за него, не показалось ей странным.

Она следила за тем, чтобы ему было удобно и приятно жить, и ей было приятно, что он не мешает ей. В спальне легко разочарование первых дней, когда невольно, как девочке, хотелось спросить: «а почему это называется счастье?» — немного пощемило, но потом перешло в уверенность, что так и надо, или у нее просто нет темперамента. Во всем остальном жизнь шла попрежнему: работа в газете, летом «Ласточка», на которой она снова уходила одна, потому, что он отдыхал, зимой — театр и ковры. Он не любил стука станка, морщился, но терпел — расходов стало больше.

Говорили они на волнующие темы мало, да и о чем собственно разговаривать женатым людям? А мечтать баронесса не позволяла себе больше вовсе, да и о чем собственно мечтать?

Словом, это был очень приличный, хороший, прекрасный брак. В нем было все, что полагается для каждого брака.

Не было только одного: счастья.



В долгую летнюю засуху 1939 года резким ошеломляющим громом ударили германские пушки под Варшавой. Захлебывающееся радио не успевало передавать известий. Вчера Варшава перешла на военное положение — сегодня Варшава взята. На следующий день в Балтийских государствах была объявлена мобилизация — еще через день балтийские порты стали опорными пунктами Советского Союза.

Это было первым ударом — и настолько странным, что он не мог еще уложиться сразу в сознании людей, привыкших к мирной жизни, свободе и самостоятельности, к договорам и международному праву, ко всему тому, что уничтожалось вдруг, неожиданно и издевательски просто. Было — а вот и нет.

В первые дни октября Рига взметнулась в судорожной панике, подхлестываемая одним только, но зато самым ужасным словом: большевики... Советские войска на границе! Большевики занимают Балтийские государства! Договор о ненападении? Это не допустит Англия! Этого не позволит Германия!

А завтра они будут здесь...

В мирной жизни следующий день не является проблемой — он не уравнение со всеми неизвестными, а простая арифметическая задача. «Завтра» становится пугающим и жутким только, когда его больше нет, когда земля проваливается из под ног, ускользает из рук, как подрубленное дерево, — раскалывается и ухаает вниз. И если не совсем было сразу понятно, что такое «военные точки опоры», то тем более понятно стало, что никакой опоры больше нет.

В первых числах октября в ошеломленный, лихорадочный город ворвался набат: Германия репатрирует прибалтийских немцев! Значит: большевики приходят. Значит: Балтику возьмут. Значит: война неизбежна. Те или эти? Спасайся, кто может!

Куда? Все равно... куданибудь! Как? Безразлично. Какнибудь... главное: скорее, скорее, скорее...

Ювелирные магазины были по распоряжению правительства закрыты. Цены на золото, брильянты и валюту сразу поднялись вдвое. Вещи распродавались за гроши. Первые пароходы за репатриантами бросили якорь у рижской пристани. Здоровые парни в коротких черных штанишках и белых носках с голыми коленками — невиданный в Риге наряд — появились с независимым видом на улицах. Они ходили по домам, составляли списки желающих уехать. Уговаривали непонимающих. Были и такие, но было еще больше других — русских и латышей, воспользовавшихся немецкой или онемеченной фамилией, своей, девичьей жены, матери, тетки, бабушки, чтобы на основании этого уехать. В особенности, когда первые дни паники прошли, большевики еще не приходили, а было объявлено, что уезжающие могут взять с собой всю мебель и вещи до последней доски. За недвижимое имущество тоже обещали возместить сторицей в новом отечестве. Но об отечестве думали всерьез очень немногие. Главное не отечество и родина, а главное: большевики. Потому что то, что будет в Германии — еще неизвестно, а здесь уж наверняка будет то, что было двадцать лет назад, в советской Латвии: пытки и смерть.



Но были другие: иллюзионисты. Почему непременно Балтику должны взять? При современной технике война не может длиться годы. А если, ввиду буферного положения, Балтика станет в новой войне второй Швейцарией? Нейтралитет, спекуляция, международный шпионаж... словом, расцвет и вообще... не так уж страшно. И не может быть, чтобы Англия допустила...

— Как ты считаешь? — спросила баронесса у мужа.

— Ерунда. Что нам Германия? И что мы Германии? Рудольф Александрович даже рассмеялся, когда я спросил его в театре, едет ли он. А уж кажется — барон Унгерн-Штернберг. А ты разве немка?

— Конечно нет!

— Конечно нет... ответила баронесса, когда великовозрастные мальчики пришли к ней. — Как видите, я даже не очень хорошо говорю по немецки, в гимназии только выучилась...

— Это очень печально, но в новом отечестве, куда вас зовет фюрер...

— Единственное мое отечество — Россия, — резко перебила баронесса. — мои пра-прадеды были уже русскими офицерами, присягали русскому царю. Моя родина — Балтика, а родина это не платье, которое можно переменить. Кроме того, мне кажется странным такое радушное приглашение вашего фюрера, который вообще то не отличается особенным человеколюбием, если вспомнить нюрнбергские законы...

Гитлеровские мальчики оскорбленно удалились.

Паника понемногу улеглась. Грузовики развозили по улицам «лифты» — громадные деревянные ящики для упаковки мебели. Закрывались магазины — фирмы, существовавшие по несколько сотен лет. Закрывались общества, музеи и церкви, расторгались и заключались наново браки. Родители оставляли детей, и дети — родителей. Разорялись последние родовые гнезда, в опустевших садах ветер мел мусорные бумажки, и с пристани отходили последние корабли.

Жизнь, как река, — взбурлила, затопила жилье, — и пошла дальше, выбрасывая на берег клочки пены и ненужные ей щепки человеческих жизней.

В опустевших улицах города гулял ветер, и сурово качали головами старые башни ганзейского города. В истории Балтики перевернулась еще одна страница, а на следующей стояло только одно слово: «конец».

Но до конца прошел еще год.

Через год последние ступеньки деревянной лестницы проскрипели, как смешной расхлябанный джаз, и белая лакированная дверь закрылась. Баронесса вошла в комнату, с размаху бросила на тахту шляпу и сумочку, и рассмеялась.

Было весело, просто, и легко от всего: от того, что светило солнце, оттого, что эта комната на мезонине заброшенной взморской даче со светло-зелеными обоями, казалась такой уютной, светлой и радостной, от того, что позади, за белой лакированной дверью захлопнулась вся прожитая жизнь, и от нее ничего, ровнешенько ничего не осталось.

Кроме вот этого смеющегося желания обнять осеннее солнце, улыбнуться веселой рябине в седу, пробежать, как девочке, по дорожке: свободной, веселой и одной. Делать, что хочется, не думая ни о чем, потому что думать было нечего, потому что все тело до самых кончиков нервов пронизывала легкая, пьянящая, чуть холодноватая дрожь от ясного и спокойного сознания того, что каждый день может быть последним. И от этого он особенно хорош, и надо выпить его весь до последней капельки, и каждую минуту чувствовать, как хороша эта обреченная жизнь.

За белой лакированной дверью протянулось тридцать километров асфальтового шоссе в Ригу. В пыльный, посеревший, придавленный тупым и безнадежным страхом город.

Их было так много, этих новых людей, пришедших с красными звездами на шлемах, приползших на длинных и низких, как мокрицы, танкетках с хвостом гусеничных следов. Они были такие маленькие рядом с высокими балтийцами, они говорили так тихо, всегда вполголоса, улыбались скользкой улыбкой, скрывавшей все мысли и даже слова, их было так много, как крыс в хлебных амбарах, и они так же, как крысы, безостановочно и неумолимо сгрызали все.

Днем на улицах исчезали улыбки. Ночью из домов исчезали люди. Каждую ночь. Офицеры, латышские и бывшие русские, члены военных организаций, священники, купцы, фабриканты, доктора, инженеры, мужчины и женщины, старые русские эмигранты, коренные русские балтийцы, латыши, евреи, поляки, оставшиеся немцы — все, кто мог чтонибудь делать, каждый, кто умел самостоятельно думать, всякий, кто когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь значил. И каждый живущий еще на свободе стоял на очереди.

Днем эти люди устраивали шествия — развешивали на домах красные флаги, плакаты и портреты вождей. Люди шли вразброд, подолгу топтались на месте у каждого поворота и невразумительно фальшиво пели веселые песни о новой счастливой жизни. Балтика единодушно просила принять ее в состав свободной семьи советских народов. «113 процентов населения голосовали за присоединение» — захлебнулась новая газета, в усердии не справившаяся с арифметикой.

Новая газета была в той же редакции, в тех же комнатах, таких понятных, привычных и близких, куда теперь можно было попасть только по пропуску часового в будке, и уж, конечно, не бывшей баронессе Керн. Редакторов и половину сотрудников арестовали сразу. Остальные — ждали по домам того же.

Одиннадцать лет баронесса проходила знакомой дорогой к знакомым ступеням. Дорога оборвалась. От неожиданно свободных дней она даже растерялась, но потом пошла просить места машинистки в каком то новом бюро. Ее вежливо и немного удивленно выслушали, спросили, кто был ее отец, и в ответ так явно улыбнулись, что ей даже стало стыдно собственной глупости.

Во втором месте повторилось то же, на третье она не пошла уже сама. Что же теперь делать? Начинать новый ковер? А кто его купит? А если и купит, то успеет ли она его кончить, и зачем его кончать вообще, если вся жизнь оборвалась, как гнилая пряжа на станке?

Театром Русской Драмы руководил теперь совет молодых актеров и театральный комиссар. Веневитинов тонко лавировал между ними: молодежь еще не успела потерять к нему, старому премьеру, привычного уважения, а комиссар ценил превосходную читку зажигающих революционных стихов. Веневитинов умел декламировать, и его выступления в Клубе Красной Армии срывали овации. А в жизни он был еще лучшим актером, чем на сцене, и это уж действительно означало первый класс.

Но лавировка была гораздо сложнее, запутаннее, лавировка между карьерой и порядочностью проникла в самую глубь жизни, во все извилины души и мозга. Огромная пустота и прозрачность оголенных дней заставили баронессу подумать и об этом. В конце концов, что же тут было бы особенного?..

— Ты не думаешь, что нам следовало бы развестись с тобой? — спокойно спросила она за воскресным завтраком. — Во пер-

вых, сейчас это очень просто, легко и дешево сделать: причин приводить не надо, длится три дня и стоит пятьдесят рублей. Во-вторых — мы взрослые люди, и я не хочу быть тебе помехой. Мы останемся друзьями, и меня это только обрадует, снимет лишнюю тяжесть, когда я перестану мешать тебе, понимаешь?

Веневитинов передернул плечами и брезгливо поморщился:

— Для женщины ты удивительно благоразумна. Конечно, все эти ночные аресты и так далее... Но что поделаешь — они должны обезопасить себя от всяких покушений. Лес рубят, щепки летят... мне очень неприятно, столько знакомых... но я актер, служу искусству, и хочу служить ему! Комиссар со мной в наилучших отношениях, и советская сцена открывает перед нами такие возможности, какие и не снились раньше. Но... будем смотреть на вещи трезво: моя собственная фамилия не мешает мне нисколько. Хотя род Веневитиновых был достаточно известен и знатен, но кому известно, что это — не мой псевдоним? Имя актера, это афиша, оно должно быть звонким. Я становлюсь своим собственным псевдонимом, так сказать... но если жену зовут баронессой Керн, то это уже не псевдоним. И вдобавок еще твой отец был офицером, и притом морским...

— Так я же предлагаю тебе: давай разведемся. Я уеду куданибудь — и нам обоим будет легче.

Веневитинов встал, прошелся по комнате, закурил папиросу.

— Видишь ли, дорогая, — сказал он, и его голос округлился непререкаемой убежденностью и сознанием собственного величия, как в царских ролях, — я глубоко ценю твою жертву, но целиком принять ее не могу. Я актер, и горжусь этим. Я, может быть, плохой муж — не буду спорить. Но я — не псевдоним. Я Веневитинов. В нашем роду не предавали жен. Может быть, я могу изменить тебе, как женщине, но не как женщине, носящей мое имя. Это мой долг. Это моя честь.

Баронесса слегка вздохнула. Мысль о разводе очень обрадовала ее почему то, а теперь и этот выход, какая то перемена положения, какая то, может быть, отсрочка неизбежного, ускользнула, как вода под килем. Он был актером, влюбленным в свою роль настоящего джентельмена, и был действительно порядочным человеком, влюбленным в свое актерство. Одно перекрывало другое, и все вместе было совершенно безнадежно.

Веневитинов притушил папиросу и сел. Величественная мантия соскользнула с плеч, чуть согнувшись от тревожной борьбы за самое главное в его жизни: карьеру.



— Но, видишь ли... я уже хотел намекнуть тебе, и если ты сама поняла и заговорила... ты действительно могла бы помочь мне, только временно, конечно, если бы, — ну, уехала куданибудь, скажем. В тихое, спокойное место. В деревню, в провинцию... хотя новый человек в таких медвежьих углах сразу бросается в глаза... а знаешь, куда лучше всего? На взморье. Вот это идея. Есть такие заброшенные, в стороне от всего, дачки. И сколько зимогоров, как мы их называем, живут там круглый год. Ты поселишься незаметно, и в город приезжать легко. Может быть даже я навещу тебя, если будет время. Или мы поговорим по телефону, пока так лучше. А я намекну кому надо, будто мы разошлись... ну словом, придумаю чтонибудь подходящее...

Свобода! Чудесный ветер яркого от осенних садов, посиневшего после летней пыли, теплого, еще не успевшего остыть взморья. Широкий, серебристо-белый пляж расстилается под растрепанными соснами дюн. В желто-багряных садах белые дачи. И совсем в стороне, на полуострове между рекой и морем, между камышами заводей и большим лесом, уводящим от дачных улиц в непроходимую глушь — маленькая дачка в запущенном саду. Внизу — несколько комнат, там живет какой-то зимогор, она его еще не видела. Наверху мезонин — ее комната и кухонька. Удобно, светло, уютно и весело.

Весело простилась с вздыхавшей матерью. Весело упаковала книги, — вот теперь можно будет почитать, как следует. Только одно было больно: «Ласточка». Бедная, верная Ласточка! Без мачт, заваленная ящиками, мешками и всякой дрянью, «Ласточка» стояла в маленьком сарайчике. Яхты нужно было сдавать сразу, так же как автомобили — все средства к бегству от нашествия крыс. Но «Ласточки» она им не отдаст...

Баронесса колебалась сперва — не пробить ли ей дно и похоронить яхту посреди Двины? Но рука не поднималась. Пусть обреченность, пусть неизбежность, — а все таки упрямо, наперекор всякой логике — надежда, нет, даже не надежда, а уверенность, что ей придется еще выйти на ней в море. Нет, лучше спрятать. «Ласточка» вне всяких классов, «Ласточка» не записана в яхт-клуб, «Ласточку» не найдут...

Все это — за захлопнутой лакированной дверью. А впереди — широкое окно, распахнутое на солнце, и веселая рябина в саду. Надо сейчас же пойти нарвать веток со спутанными длинными каплями листьев, с пронзительной киноварью гроздьев, чтобы



и на столе, в высокой вазе, горела осень. А какое мягкое, легкое тепло в этом саду, — листья ласковые как солнце, и такие же золотые.

— Моя веселая рябина, осенний мой и горький хмель, — говорит баронесса вслух, протягивая руки. — Дай мне ветку! И еще! И еще — вот эту, самую красивую...

Но ветка высоко и ускользает из пальцев.

— Позвольте я помогу вам, баронесса, — раздался незнакомый голос.

Ветка уже сломана, оранжево-красные ягоды падают вниз, а баронесса все еще не протягивает к ней руки. Он слегка только подался вперед из-за куста, стоит, улыбаясь. Высокая грудь натянута серым шелк рубашки, над загорелым лбом широко откинута волосы, пристальные глаза смеются от солнца.

Неожиданность сменяется недоумением: как молоточки по гамме подобранных ступенек детской колотилки — ксилофона — мысли бегут назад — за сколько то лет, в холль редакции, к низкому столику секретарши, у которого остановилась как то на ходу, среди звонков, цоканья машинок, газетного гама.

— Вы не знакомы? Это Цезарь.

Цезарь — конечно, она читала его статьи. И слышала. Он ушел из редакции, только присылал материал, сам появлялся редко. О его трагедии говорил тогда весь город. Молодой летчик, поэт и журналист. Молоденькая конторщица из их газеты. Роман и слишком веселая вечеринка у нее на квартире. Под утро она уселась на подоконник, свесив ноги вниз, пила и пела. Он стоял рядом. Она покачнулась и упала. Он успел схватить ее, но неловко, его рука сломалась и вывернулась. Девушка рухнула с шестого этажа.

«Вот до чего доводит пьянство», говорили все, качая головой. Кто же удержится от прописной морали — для других? Мораль или любовь — но у Цезаря сломалась не только рука. Он бросил все и поселился отшельником. Вопреки ожиданиям, с ума не сошел, а через несколько лет выпустил новую книгу, лучше первых. У жизни своя логика...

— Цезарь, — сказала баронесса и невольно протянула ему обе руки, — никогда в жизни не думала, что увижу вас, и именно здесь — теперь...

— А я никогда не думал, что женщина в синем платье может так напоминать заблудившуюся ласточку — ответил он совсем не в тон и прищурился немного. — И вам не кажется, что удиви-

тельно хорошо, что мы с вами встретились именно здесь, и именно теперь?

Падающая ветка рябины мягким толчком упала ей на руки, и баронесса впервые в жизни поняла, что держит на руках — счастье.



Как определить счастье? Для каждого может быть другим, но для всех будет одинаковым: счастливый человек растворяется, сливается с окружающим миром безо всяких других желаний, кроме того, чтобы это продолжалось. Всегда. Но оно никогда не продолжается слишком долго, и в этом тоже есть свой смысл.

Платон говорил, что человеческая душа, перед тем, как выйти в мир, рассекается на две половинки. Две половинки одной капли. Но они не одинаковы. Тысячи и миллионы половинок сталкиваются, и каждая ищет свою, единственную, с которой только может слиться. Найти ее — значит счастье, настоящая любовь. Поэтому счастье так редко. И бывает — иногда.

В осенний сад раскрывались белые окна. Солнце заливало стены. Над белой дачей летели дни и ночи, ветер доносил из-за леса сердитый шум моря, листья кружились и падали на ступени крыльца, по стеклам ползли мутные капли, в белой изразцовой печке извивалась и вспыхивала розоватая береста. И листья, и дни оставались на ступенях — из белой дачи не вело никаких дорог. Телефон молчал тоже. А двум людям за белыми окнами не нужно было никого. За порогом их ждала смерть, а с ними было счастье.

Каждая минута была так насыщена, что совершенно не оставалось времени подумать о чемнибудь другом. Никаких мыслей, и никаких желаний, кроме того, чтобы завтрашний день был такой же, как сегодня. А вместе с тем, пробивающаяся в улыбках, во взглядах, в поцелуях тревога обреченных.

Верная Мирдза, как и много лет подряд, приносила по утрам молоко, хлеб, и все остальное, что писалось ей на записке. Несколько раз Цезарь сам возобновлял запасы, отправляясь в большой магазин в центре взморского городка. Надевал старый кожух и шапку с наушниками глубоко на глаза. Баронесса выбегала в сад — посмотреть, не возвращается ли уже. Но здесь ее никто не звал баронессой. Здесь была Ласточка, и такой непередаваемой нежностью звучало это слово, что за спиной, казалось действительно трепетали крылья.

«Белая яхта не шла — летела»... говорил Цезарь высоким голосом, и баронесса подхватывала строчки любимой поэмы Ахматовой: «У самого моря». Каким близким и совершенно своим казалось это ожидание у моря у колен вышивающей жемчугами искалеченной сестры, ожидание единственного, который должен придти. И приходит, чтоб умереть.

«Вынул моряк того, кто правил самой веселой, белой яхтой и положил на острые камни... Эти глаза, зеленее моря и кипарисов черных темнее, видела я, как они погасли... лучше бы мне родиться слепой! И умирая, сказал он чуть слышно: «Ласточка, ласточка, как мне больно...» верно, я птицей ему показалась...»

Баронесса вздрагивала — на ступенях белой дачи сухо шелестела погибшими листьями смерть. Но Цезарь отодвигал все обнимающей рукой, прижимал к груди, заглядывал в глаза.

— Весной мы полетим, Ласточка! Очень просто. Или на твоей яхточке, или удерем с рыбаками. Я уже твердо сговорился с Янисом, долго ли умеючи с ним до шведских берегов... Собственно говоря, я уже осенью собирался это сделать, но так вышло... и не жалею, что застрял! Нас здесь никто не найдет. А в Швеции у меня друзья, я там часто бывал корреспондентом от газет, говорю немного по шведски. Одну мою книгу выпустило стокгольмское издательство перед самой войной, гонорар лежит в шведском банке. Для начала нам хватит, а главное — свобода, понимаешь ли ты? Только тебе надо развязать твои крылышки, а то они у тебя спутаны. Почему ты не хочешь, чтобы я поговорил с твоим мужем? Теперь он согласится на развод, даже рад будет. И сам без греха и ты не помешаешь ему больше. Вот поеду завтра в город, и...

— Нет, — упрямо качала головой баронесса, — это мое дело, и я устрою сама. Поеду, объясню, и сразу же, как это называется теперь — в Загс. Три дня — и кончено. Мама поймет... мне только так не хочется ехать. Подумай — три дня без тебя. С ума сойду. Вдруг чтонибудь случится... нет уж, лучше вместе. Подождем еще немного. До весны далеко.

Ласковый, мягкий снег закутал дачку. В комнатах было тепло, топились печи, каждое утро Цезарь, весело насвистывая, рубил дрова. А снег все шел и шел, белая танцующая дымка заметала все следы и пороги.

В мягких, неслышных валенках подошло Рождество, дед-мороз заглянул в Сочельник в синее окно, улыбнулся зеленой елочке и двум счастливым людям.

Уже сверкающий ледяной январь слепил глаза морозным солнцем, уже февральская капель позванивала в полдень — уже планы бегства стали серьезнее и ближе, и баронесса позвонила матери по телефону и сказала, что приедет на следующий день в город. Уже все было решено, продумано, ясно, и так легко, так неважно все остальное, уже...

Уже к белой даче были найдены следы.

Цезарь подошел к полке, чтобы снять книгу, и поднял руку. Баронесса сидела с ногами на тахте в любимой своей позе. На столе горела лампа под оранжевым абажуром, уютный звон маятника падал в ковер, как серебряный дождь.

Они вошли без стука — тихо, уверенно и спокойно открыли незапертую дверь и как то сразу заняли всю комнату: четверо энкаведистов. Короткие вопросы и ответ: имя, профессия, ордер — шелестели, как сухие листья. Вполголоса, неизбежная ненужность. Совершенно точно известно, к кому они пришли, и зачем.

Баронесса прижалась к подушкам тахты и не отрываясь, смотрела на Цезаря. Он так и остался стоять у полки, прислонившись к углу. Вынул портсигар, закурил. Курил медленно, глубоко затягиваясь не сводя с нее глаз Пепел с папиросы сыпался на ковер — он не видел ни ковра, ни пепла.

Из рванувшихся ящичков письменного стола на пол летели бумаги, рукописи, разбирались, сваливались в кучу. Они работали спокойно, не торопясь, и Цезарь курил, зажигая одну папиросу от другой. «Револьвер»! — первая мысль, первое движение было притушено отчаянной мыслью, надеждой: может быть, если он дастся им спокойно в руки, они оставят ее?

— Почему? — спросила вдруг баронесса, угадав его мысль, качнувшись вперед.

Наклонившиеся над бумагами люди удивленно обернулись, но Цезарь чуть заметно покачал головой. «Нет, Ласточка, я не исполню своего обещания, не убью ни тебя, ни себя. Все таки, может быть»...

— Гражданка Веневитинова может остаться здесь — пока — заявил старший. — А вы — собирайтесь и притом поскорее...

Баронесса сжала зубы, хотела приподняться, но не смогла. Надо ведь собрать ему с собою вещи на дорогу — что? Все равно, они все отнимут потом.

Цезарь отшвырнул последнюю папиросу, щелкнул портсигаром и шагнул вперед. Поднял ее с тахты, посмотрел в глаза.



«Ласточка, ласточка, как мне больно...» — сказал или слышалось только? Руки скользнули с любимых широких плеч, теплый еще от ладони его тяжелый портсигар упал на колени и из неприкрытой двери в темную столовую легла клином тень. На крыльце звякнули стекла, за окном скрипнул снег.

Это все, и все осталось, как было: только на полу белели бумаги, а на ступенях крыльца темнели следы. Над белой дачкой лежало синее небо, на столе горела лампа под оранжевым абажуром, и серебряная капель маятника гулко падала в ночь.

Помилуй, Господи.



В кабинете Семена Яковлевича, стоял широкий письменный стол — точь в точь как в редакции. Но Семен Яковлевич стал теперь гораздо солиднее и старше. Он сделал блестящую карьеру. Он был начальником Центральной тюрьмы, первого этапа для арестованных — уцелевших после допросов.

Баронесса не видела его больше года. Она пришла прямо с взморского поезда, не заходя домой. По дороге был составлен новый план, сухие мысли перебивали одна другую, она судорожно старалась держаться прямо и слова звучали ровно, только, иногда вздрагивал голос.

Семену Яковлевичу было явно не по себе. Он никак не мог найти тона. Иногда возвышал голос, читал заученно официальное предписание, но сразу же срывался, разводил руками и пригнувшись к столу, шептал:

— Я понимаю, я тоже человек... Вы думаете, мне легко на таком месте, когда и матери и жены, и мужья?.. Мне уже эти просители снится начали, первая стадия сумасшествия! Чего вы все от меня хотите, когда я сам дрожу перед начальством, а свидания не разрешаются? Ну конечно, можно сделать исключение по старой дружбе, я не отказываюсь... А я и не знал, что вы уже незамужем. Веневитинов выступает теперь везде и всюду. Но этот ваш жених, будем говорить прямо, прошлое у него не хорошее, нет: и летчик, и офицер, и журналист — уже одного достаточно, а тут выбор, как на распродаже! Ну ясно, что надо придумать чтонибудь, если есть возможность. Конечно, нелегко, но попробовать можно...

Он откинулся в кресле и подумал.

— Германский консул сейчас очень нажимает из-за оставшихся немцев, и я думаю, что наши должны будут уступить.



Вы же знаете, вторая репатриация... Кто из немцев не уехал в первую, в прошлом году, удирает сейчас. Только теперь сложнее: комиссия, допросы. Но вы баронесса Керн. Ну, станете немкой — какая разница?

Он нагнулся ближе:

— И большая разница! Что вас здесь ждет? Между нами говоря, я даже удивляюсь — до сих пор уцелели... Конечно, это очень опасно, но какнибудь я вам дам записочку, чтобы вы успели обвенчаться... Он хороший человек, работал у нас в газете, я его знаю... настоящая вам пара. И признайтесь, вы его очень любите? Наверно, больше, чем вашего первого мужа, а?

Баронесса подняла голову, и несмотря на бессонную ночь, на тревогу и усталость, в глазах ее было такое счастье, что Семен Яковлевич потушился и смешался.

— Больше жизни, — твердо сказала она.

А что значила теперь — жизнь?

\*\*\*

К консулу было уже поздно. Баронесса села на трамвай, доехала до набережной, и пешком пошла через мост, хотя могла бы ехать и дальше. Но ледяной ветер с Двины резал лицо, и это освежило. Сейчас она придет домой, выпьет чаю, согреется. Хорошо, если Веневитинов дома. Можно будет сразу начать разговор.

Дверь открыла мать, вскрикнула, всплеснула руками, обняла ее и заплакала почему то.

— Я так тебя ждала и беспокоилась, так волновалась. Подумай, какая неожиданность. Все было хорошо, и вдруг... Несколько раз звонила тебе сегодня по телефону, но не могла добиться соединения...

Второй раз за эти сутки баронесса почувствовала, как сердце гулко падает вниз и отнимаются ноги.

Но уже знала, уже чувствовала ответ:

— Веневитинов арестован сегодня ночью.

\*\*\*

Прошлую ночь баронесса провела на тахте в белой, такой неизмеримо далекой теперь даче. Сидела, забившись в подушки, поглаживая пальцами последнее, что дал ей Цезарь — его портсигар.

Эту ночь она ходила по своей старой девичьей комнате, медленно, чуть согнувшись. Иногда останавливалась, вынимала из портсигара папиросы, которые купила почему то, и неумело закуривала. Дым щипал горло, но так казалось легче.

На столе лежала записка, оставленная мужем, только три слова:

«Спаси, ты можешь».

На столе стоял портрет отца в полной форме. Он был снят совсем молодым и казался не отцом, а старшим братом. Молодые глаза смотрели строго и молча отвечали на каждый вопрос. Но ответов было меньше, чем вопросов, потому что на все вопросы был только один ответ: «ты должна».

Баронесса Керн может уехать за границу, вырваться из этого ада. С нею может уехать муж — или, может быть, жених. Но один из двух. Если она выберет Цезаря, — надо поднять страшное дело о разводе с арестованным человеком, добить его, отнять последнюю надежду, предать. Самый страшный грех, самое позорное пятно.

«В нашем роду предателей не было», — говорят глаза отца. Долг ясен и прост, она должна спасти мужа, нелюбимого, ненужного и чужого. А если она увезет его — то Цезарь обречен.



Обрывки бессонных ночей, последняя встреча — туман, надо всем туман.

Она куда то ходила, что то говорила, терпеливо и деревянно. Даже не говорила, а отвечала, ровно столько сколько нужно. Подписывала бумаги. Женщине, убитой горем, жене, спасающей своего мужа, не задают лишних вопросов, ей прощают и странный вид, и деревянный тон.

Консульство, комиссии... Кругом волновались, сдерживали слезы — другие, ожидавшие своей очереди. Баронесса спокойно стояла с сухими глазами и мертвым, постаревшим лицом. Она не запомнила ни одного лица, ни одного часа из ожидания этих дней.

Только одну минутку в кабинете Семена Яковлевича, куда пришла перед отъездом. Чужим голосом объяснила все. Семен Яковлевич не понял сразу, потом заторопился, позвонил по телефону, закивал головой.

— Баронесса, сейчас его приведут, как будто мне надо проверить бумаги. Какая трагедия... я рискую, я очень рискую. Только три минуты в моем присутствии, я отвернусь... но я не могу отказать вам — и у меня есть сердце. А для того, чтобы так поступить, это сердце надо вырвать, разве я не понимаю... Марья Михайловна бросила мужа, потому что у него был свой магазин, и его арестовали, и стала содержанкой одного товарища... Да, теперь я вас понял, баронесса, и теперь уже не скажу вам «может быть», — помните, тогда? Теперь я скажу просто: да, да! Что значит, если за всю жизнь ничего особенного, но когда это нужно, то это будет!? Ну вот, он уже идет, я слышу, и я ничего не вижу и не слышу больше!

Обернулась, сделала шаг навстречу, не поднимая рук. Только смотрела в упор, не отрываясь. Тот же. Похудел сильно, но плечи не согнулись еще. Глаза потемнели — или это кажется так?

— Цезарь, Веневитинова арестовали. Умолял спасти. Через германское консульство — как моего мужа. Уехать. Комиссия пропустила. Я не могла поступить иначе.

Цезарь вздрогнул, наклонил голову, поднял ее снова. Серые глаза смотрели на нее понимающе и ласково.

— Ты не могла иначе. Живи, Ласточка. Спасибо тебе — за все.

Шагнул вперед, обнял, но не поцеловал, а только коснулся холодных губ. Перекрестил широким крестом — и вышел.

Все.



Потом мать укладывала чемоданы, они ехали на вокзал, мать плакала, крестилась тоже. Купе набито людьми, вагон мотало на стрелках, в темных и мокрых окнах отшатывалась родина, уходила любимый город, дорога на взморье, вся жизнь, все.

Через сутки на германской границе под проливным весенним дождем махали флагами на встречном пункте, разносили горячий жидкий кофе, к тюремному вагону, в котором ехали отдельно выпущенные из тюрьмы, бросились родственники. Оттуда выходили бледные, измученные люди, многие шатались от голода. И все плакали.

— Ну вот — здравствуй — сказала она. Без слез.



В конце 1944 года в Берлине русские рестораны «Тройка» и «Медведь» у Виттенберг-платца были уже давно разбиты. Но «Дон» в нескольких шагах от разгромленной Тауэциенштрассе был местом неожиданных встреч. Беженцы из Балтики, Польши и Советского Союза, старые и новые эмигранты, в казачьих и немецких формах со значком РОА, в «цивильном» и просто в жутком виде сидели за столиками, заказывали на карточки жалкое подобие «гурьевской» каши, борщ и салаты, и никто не удивлялся, если с разных концов зала вдруг вставали и шли друг к другу с раскрытыми объятиями. Немецкие посетители давно уже привыкли, что русские имеют привычку вставать из гроба, и выражать это самым провинциальным образом.

— Вы ли это? Неужели?

— А вы какими судьбами? Ведь вас расстреляли большевики?

— Не совсем — улыбнулся высокий майор в форме летчика и с крестами на груди.

— Идите сюда, Цезарь, к моему столику, и рассказывайте. Когда я был арестован этой сволочью, то слышал, что вас замели тоже — еще бы! Мне удалось, слава Богу, вырваться, в это время шла вторая репатриация немцев, и жена сыграла на том, что она урожденная баронесса...

— Знаю.

— Но мне говорили, что все, кто оставался в Центральной тюрьме были переведены в Двинск и расстреляны во время отступления — как же вы спаслись?

— Я просидел полгода. Пытали — но мало, потому и выдержал. А наступление немцев было таким молниеносным, что сразу заварилась каша. Нас действительно начали переводить в другую тюрьму, но тут... несколько бежало. Вот и я.

— Мы попали сперва в провинцию, а потом мне удалось очень хорошо устроиться. Я — директор-режиссер передвижного театра. Большею частью балаган конечно, халтура, но иногда удается ставить хорошие миниатюры, и в материальном отношении тоже не плохо. Налеты вот только, куда не приедешь... но знаете, даже к ним привыкаешь.

— А... ваша жена?

— С женой у меня получился печальный парадокс. Со стороны может даже показаться смешным. Я никогда не был раньше в Германии, по немецки говорю довольно плохо, но

уживаюсь со всеми и чувствую себя недурно. Хоть и разгромленная, но все таки, знаете, Европа. А она с самого начала не могла, да просто и не хотела переключаться. Приехала, как на казнь. Тогда еще в нашем городе не было совсем налетов, жизнь кипела ключем, а она три месяца не выходила из комнаты. Сидит и смотрит в одну точку. Я уж с докторами советовался: нервное потрясение, повидимому, в связи с моим арестом и прочее. Затем решила вдруг развестись, представьте! И уехала на фронт сестрой милосердия... на восточном она была, последнее время в Риге опять... Вы не встречались?

— Нет. Я был на севере России.

— А она на юге. Только под конец в рижском лазарете. Я ждал, конечно, что она вернется со всеми, стольким рижанам удалось спастись, даже нигде не работавшим. И вот, представьте: Ригу взяли большевики месяц назад, тринадцатого октября. Мой знакомый редактор уезжал на машине накануне падения — Московский форштадт горел уже. Он встретил жену на улице, около моста, пришел в ужас и говорит ей: «Садитесь, что вы делаете, вы должны бежать, садитесь, я вас увезу!» А она отказалась наотрез. Тут же написала записку, пусть, мол, если встретит меня, то передаст — и ушла. Потом он пожалел, что просто силой не усадил ее. Говорят, что из рижан, оставшихся в городе, никто не уцелел. Всех, кто не был расстрелян сразу, отправили в концлагеря. Я никак не могу объяснить себе ее поступок. Может быть она хотела бежать с другими, и не успела просто? Или все время работала на передовых линиях, это повлияло на нее...

— Что же было... в этой записке?

Над бровями Цезаря легла резкая складка.

— Да вот она, читайте сами. Ношу с собой...

«Я не могу больше».



Чудесная, теплая, поздняя осень боролась с дымом пожаров и удушливой пылью взрывающихся зданий. Залпы срывали башни и осенние листья. Над дымным, истерзанным городом голубело небо.

Тринадцатое число было всегда счастливым для баронессы. Она самовольно ушла из лазарета, когда он начал спешно эвакуироваться. Домой. Опустевший серый домик мирно притулился в глубине разросшегося сада — уцелеет и сейчас, может быть.



В сарайчике под старым хламом до сих пор еще стояла «Ласточка». Баронесса с трудом вытащила ее на полозьях, спустила на воду у мостков, поставила мачту. Белая лакировка облупилась, «Ласточка» рассохлась, давала сильную течь, но баронесса просто заткнула дыру тряпкой.

Продельывала все так, как привыкла за эти годы: спокойно и безразлично. Когда работала на фронте, под самым огнем, этим спокойствием восхищалась — в другой обстановке оно отпугивало бы. Но ей было все равно. Она провела под своей жизнью толстую черту и подвела итог: тридцать три года размеренной, скромной и тихой жизни. Потом катастрофа — и полгода настоящего счастья. Потом — несколько бессонных ночей, когда рушилось и сломалось все — не только вовне, но и внутри.

Не стоит задавать вопрос, правильно ли она поступила. Пусть решает, кто может — она не могла иначе.

Последние три года — расплата за все, провал, темнота, безразличие ко всему. Она похудела, постарела и больше всего походила теперь на высохшую старую деву. Разве можно узнать в ней сияющую Ласточку на белой даче? Да и некому узнавать.

Утром тринадцатого октября баронесса вышла на «Ласточке» на середину Двины. На воде яхта казалась сверкающей и белой, такой странной среди взорванных мостов и развалин. С берега по ней дали залп.

Ласточке не было больно...

# Письмо о березках

«Хозяину отеля «Граубе» в...

/...обыкновенные черные буквы, отстуканные на машинке. Такое же название, как Миттенвальд, Обераммергау, Берхтесгаден; все они похожи друг на друга, эти городки в Баварских Альпах; игрушка под горой, улегшейся как туча. Кто бывал, а кто видел на картинках только, но сразу вспомнит: эдельвейсы. Но кто бывал, вспомнит еще и другое: энцианы, самый синий цветок в мире...

...руки сползают с клавиш машинки, стали горячими и тяжелыми, как глаза, как буквы. Горы тоже тяжелые, но они иногда поют. Высоким и частым, режущим серебряным звоном. Говорят, что это гатер на дальней лесопилке в долине. Но тогда пели горы. Да и все пело. Вода, сбегаящая сбоку вдоль дороги, камни промыты до-бела, холодная, будто не снег стоял, а из самого сердца горы. И прозрачная такая, что если бы не звенела так, и рассмотреть ее нельзя было бы. И в синий вечер, позади розовой свечи колокольни, шлепают под мостом гномики в деревянных башмачках по этим камням, с озорной, подмывающей песенкой: клик-клик! И над отелем висит виноградная кисть вместо вывески, тяжелая и темная, как пиво с альпийским козлом на этикетке... надо же, чтобы в эту чинную игрушечность, в цветы, нарисованные на всех вещичках для туристов, в снег предвесенний — встрело такое, чужое всему этому, и слив-

шеется с ним, совсем безграничное, пьяное, сумасшедшее счастье.../

### **Зер геертер Херр!**

/... Ну да, он был очень почтенным, хозяин гостиницы. Но вот бронзовый мастер со скрипкой перед церковью запомнился, а он нет. И его жена тоже почтенная, толстая. Они не особенно интересовались паспортами — номер на двух. На стенках что то зеленое и лиловато-пестрое, как вереск на стаявших проталинах возле горной хижины — там, гораздо выше, в горах. В хижине, в ксторой и дни и ночи были серебряными. Отель под виноградной кистью только начало и потом, напоследок... Милый, почтенный, хозяин виноградной гостиницы! Но надо все таки писать дальше.../

**«На прилагаемые к этому письму деньги прошу Вас снять фотографию с висящей в Вашей гостинице картины. Она изображает зимний пейзаж с березками, и висит.../**

/... невыносимо втыкать эти буквы. Воздуху бы проглотить, чтоб глаза не жгло так, чтобы не судорога эта в сердце... Березки висят, конечно, на старом месте. Может быть, уже пятьдесят лет, и еще будут висеть столько же. В фонарике пивной внизу, где стоит натертый дубовый стол. На кусочке стены — большая акварель под стеклом, в узкой серебряной рамке. Горы уже сбросили с себя рассвет, и он сползает ниже. Наверху в ключьях четко видна лиловатая верхушка, и кусочки светлого неба в тумане. А внизу снег на косогоре, задымленные инеем кусты, и на самом скате — три бедные, покривленные, с еле видными ветками, как ниточки — березки. И глубокие следы в снегу — мимо них. Кто то прошел вниз, мимо. Как же болит это сердце, выдержать невозможно... ну вот, лбом в машинку, она жесткая, никель ручки холодит висок... это ты сказал тогда, что кто-то прошел, и мне стало страшно. Всегда ведь с самого начала был страх, что каждую минуту может оборваться все, и вот так же мимо. Там, за этим столом, сказал первый — может быть, единственный раз: «да ведь люблю же я тебя!» И я знаю, что я постаралась, чтобы не дрожал голос когда ответила, что ты не говорил этого раньше. Ты спохватился, может быть, даже смутился немного, пожал плечами: «А вот теперь говорю»... Боже мой, почему я не могла умереть тогда, когда была так счастлива, что могло от этого разорваться сердце? Хоть бы оно не болело так теперь, хоть бы письмо дописать... если бы чернила-

ми, то все было бы в кляксах, а на машинке переписывать не придется, ровные буквы у машинки... И тогда же я дала себе слово, что эти березки будут у меня. Хоть фотография. Я то их вижу все равно другими глазами. Не так, как это небо за окном, и голые конторские стенки. Небо в тучах, солнце давно уже закатилось... Как же было этим березкам удержаться, милый, если у них такие тоненькие ветки, и сами они мерзнут на косогоре, и ты... прошел мимо? Тогда мне казалось невероятным счастьем, что ты меня любил, а поверила я сразу. Теперь же, когда из года в год, каждый день, каждое утро, первая мысль и последний вопрос в темноту ночью: «за что, за что?» — теперь, когда все продумано, все истолковано, и каждая складка в твоих бровях разгадана, и эти скользкие на ходу, не задевая, скупые, казенные встречи, выхолощенные слова — когда я знаю, до самого конца знаю, что ты меня и не любил никогда по настоящему, и уж, конечно, теперь не будешь любить — никогда, никогда... все равно кричу же я свое «за что», зная, что ты не слышишь, и так много уже зная, и все таки — не веря? Смешно, неправда ли.

... Хорошо, что ты не прочтешь этого письма. Оно и не написано вовсе. Написаны вежливые немецкие строчки. «Зер геертер Херр» улыбнется, наверно, и с самодовольством будет его хранить. Все таки, реклама для его гостиницы. Он никогда не вспомнит среди сотен влюбленных пар — а он то их наверно умеет различать среди других туристов! — кому так понравился его зимний ландшафт. Может быть, он сам никогда и не видел как следует этих березок; нарисованы горы, снег — все в порядке. Может быть, только сейчас посмотрит на них и решит, что деньги художнику заплачены не зря, и будет гордиться. Пусть. Это его право. У меня не было никаких прав. Я знала с самого начала, что ты несвободен. Но — будем честны: я надеялась. Несмотря ни на что. Ах, Боже, какие гордые узлы разрубаются и распутываются иногда! И еще: ты говорил мне, что не любишь ее, но обязан. Я всегда понимала. Ну хорошо, ну пусть не судьба, и поздно встретились, — но за что же — совсем? Разве у тебя был когданибудь лучший друг, лучший товарищ, чем я? По мужски понимающий все, по женски прощающий — тоже все? И поддерживающий — всегда? И твою работу по анализу ты тоже начал, наконец — только при мне. А теперь она заглохла. Закончишь ли, зажжешь ли, как мы говорили, свечу —? Нет, не зажжешь. За что же так оттолкнуть, что даже не остаться друзьями? Конечно, это хлопотно, это значит, что надо подумать и о

другом человеке, а не только принимать то, что он дает, готовность всегда, во всем... за что?!/

/...и прошу прислать мне фотографию по прилагаемому адресу...»

/...Подпись и можно заклеить конверт. Коротенькое письмо. Если бы у меня были деньги, я купила бы эту картину. А может быть, и не выдержала бы — смотреть на нее, такую же самую, на какую смотрел и ты. Говорят, что можно справиться со всякой болью. Это мне тоже советуют все друзья. Интересно знать, отчего же тогда умирают и калечатся люди? Ну вот и хорошо, я устала... я так молилась, чтобы Бог снял с меня эту тяжесть, я не могу больше. А она не снимается. Может быть, немец не пришлет мне фотографии, не захочет возиться. Поехать туда самой — не могу, не выдержу. Господи, ну что ему стоит прислать мне мои березки? Плачу же я за них, и как плачу... самым дорогим, — и никому ненужным.../



### «Гнедиге Фрау!»

/...Письмо этой фрау — круцификс, какие тяжелые имена! — лежит уже целую неделю, надо ответить. Я всегда говорил Рези, что надо завести машинку, так письма выглядят приличнее. Рези тогда тоже обратила внимание на нее, и еще решила, что она художница: так смотрела на зимний ладшафт, будто молилась. Рези всегда говорит, что художники не могут держать себя прилично. Но я сказал, что это просто влюбленная пара, и ничего особенного нет. Только Рези не знала, что я подумал. Я даже не подумал, а просто вспомнил почему то Марию. Когда она мне сказала, что я для нее единственный любимый. И не только тогда, на рассвете, у хижины в горах. Нет, совсем недавно еще, когда Зепп женился, и надо было пригласить на свадьбу и Альмхуберов тоже, все таки родня. Тогда у Марии были те же глаза, и тот же взгляд, как и двадцать пять лет тому назад. И я тоже стал как будто молодым, и снова шел по этому косогору, и снег был такой глубокий, а я шел и думал, что у меня рана в сердце, и я должен жениться на Рези, потому что она ждет от меня ребенка, и у ее отца хорошая гостиница... Все это молодость, конечно, в молодости мы все влюбляемся и делаем глупости. Я всегда считал, что поступил очень благоразумно и порядочно. Как же могло быть иначе, так не делается, чтобы наперекор всему и всем, а Мария тоже вышла замуж и



жила очень хорошо. Теперь она постарела, конечно, и я тоже не прежний, но когда вот этот ее взгляд на свадьбе Зеппа, совсем молодой, как рассвет в горах... наверно, она была очень несчастна. Даже немного приятно от мысли, что такая девушка как Мария, была несчастна всю жизнь из-за тебя. И я очень любил ее тогда, но Рези... может быть, я даже сделал глупость, иногда мне кажется так, но что прошло, то прошло. Рези всегда делала вид, что не знает, и она прекрасная хозяйка, а знать ей нечего. Это такие дела, о которых мужчина вспоминает один, особенно, когда ему уже за пятьдесят... Но вот взгляд Марии и у этой дамы — такой же. Потому я ее и запомнил, и когда прочел письмо, сразу сказал: это она! Только не сказал Рези, почему. Женщинам не надо всего знать. Но нужно писать дальше.../

**«К моему глубокому сожалению я не могу исполнить Вашей просьбы, потому что...»**

/... Ну вот, теперь надо объяснить. А как? Во-первых, правды нельзя написать. Это ее глубоко огорчит. Мы должны быть всегда любезны с нашими гостями, это главное. Во-вторых, она может сказать, что дело хозяина гостиницы принимать деньги и подавать, а не подсматривать за своими посетителями и вмешиваться в их личные дела, и много еще такого. Да, нельзя.../

**«... потому что картина была случайно повреждена...»**

/... Если у нее есть чтонибудь в голове, то она поймет, что это глупости. Ну, как может быть повреждена картина, которая висит на стене уже двадцать лет? Пожара не было. Я не могу написать про пожар, потому что вдруг она приедет сюда сама, и увидит, что все на месте. Правда, без ландшафта. И вот, будь у меня машинка, я не писал бы два раза подряд «потому что», а теперь придется зачеркивать и получается некрасивое письмо. Он тоже был два раза. Первый — с ней, а потом его ждала другая. Дама которая похожа взглядом на мою Марию, подходила лучше. На этот счет у меня есть глаз. Сколько я их перевидал, всяких парочек. Но Марий видал не так уж много. Вторая любила его тоже, это ясно, но не дело говорить, что она ждет уже здесь два часа своего мужа, а потом идти к Рези спрашивать ее, не бывал ли здесь муж с другой женщиной. Если ревнуешь, молчи, а с такими вопросами к хозяину гостиницы не обращайся, нет. И все равно, понятно, что мы ничего не скажем. Да, мы его знаем, он бывал, заказывал пиво или вино, и платил, как полагается. Больше ничего. До чего глупы все таки женщины! Если написать, что когда он пришел, я нарочно встал

мыть стаканы за стойкой, и из-за своего угла все видел? Он нахмурился, понятно, никакой муж или не муж не любит, чтобы за ним по пивным бегали. А потом они пили пиво, и она говорила ему, семейная сцена с ревностью, обычная история. Слышать я конечно не мог, только видел, что он усмехнулся как то нехорошо, и на картину ей вдруг указал, может быть вспомнил другую — Марию. А эта вдруг разъярилась, вскочила, да пивной кружкой как запустит в картину! Ну уж тут, конечно, пришлось вмешаться. Кружка тяжелая, стекло разбилось, угол оторвался и все пивом залито, испорчено, потому что водяные краски. Рези всегда говорила, что картины маслом практичнее, и она конечно права. Надо отдать ему справедливость: может, это у него последние деньги были, но он выложил их на стол, а кружку разбитую уж я ему не присчитывал, хорошо, что за картину заплатил. Ночевать они не остались, и вообще больше не показывались, а картину пришлось снять. Рези снесла ее на чердак, а потом отдала кому-то. Хорошо еще, что посетителей при скандале не было. Да, потом мы еще выпили с ним по стаканчику энциана на прощанье, и когда он посмотрел на пустую уже стенку, опять улыбнулся как то криво, нехорошо это у него выходило, а сам ничего был... /

**«и присланные Вами деньги поэтому возвращаю...»**

/ Уф, тяжелое письмо. Будь иначе, я бы ей лучше картину продал. Ясно, что они разошлись — иначе за картиной вместе бы приехали. А так она хотела на память, понимаю. Да, хозяин гостиницы в таком городке, который славится на всю Европу, навидится всякого. Деньги ей пригодятся: пусть себе на них чтонибудь купит, а уж если не хочет практичного — то хоть бутылочку «Энциана», что ли — от него сердце не так болит... /

## Н е о б о й т и с ь

Ветер очень холодный. За высокими желтыми стенами громадного дома, на скате горы, он режет глаза и уши, ледяной струей пронизывает заливающее горы и долину солнце, как холодный ключ в теплом озере.

Но корпус дома стоит громадным квадратом и внутри его, на открытой во двор двухэтажной террасе во всю стену, ветра нет, он не может спуститься сюда, под полосатые маркизы, забраться в спальные мешки и толстые шерстяные одеяла, больных, лежащих на койках и в креслах.

Под скатом террасы разбит цветник, но сверху его не видно — только кусочек клумбы посреди двора: вороха прошлогодних елочных веток, закрывающих розы, несколько темных конусов, как ваньки-встаньки, вечно зеленой и вечно тусклой, мрачной туй, серая земля.

Напротив, через двор, привычные, изученные прямоугольники окон: ряды этажей, широкие пролеты лестницы, и громадное, в мелком переплете, двухэтажное окно врачебного кабинета. Сверху оно кажется голубоватым от отблеска солнечного неба, потом темнеет, а внизу белеет что-то: если приглядеться, можно даже различить фигуру в белом халате — докторша проверяет рентгеновские снимки, поднимая к свету темные четырехугольники.

— ... косточки наши просматривает, — вздыхает больной на террасе, прищуриваясь на солнце, как будто ему отсюда тоже

будут видны эти туманные, беловатые и темноватые пятна, от которых зависит так много, да ведь, в сущности: все.

Он здесь уже старожил: скоро год. Сперва операция, потом медленное выздоровление, а теперь долгое ожидание: что дальше? Режим, рентген, температура, прогулки, обед, весы; температура меряется три раза в день, прогулка — это лежанье на террасе (завернувшись до подбородка в одеяло, на нижнем ярусе у третьего столба направо) — завтрак, обед, чай, ужин — занятие, разнообразящее день, почти удовольствие, если бы только хотелось есть; рентген и весы — это проверка, пугающая всегда слегка — пугала бы больше, но не надо думать; кашель, чужой и свой, улыбки сестер, разговоры с соседями.

Надо всем этим, как режиссер, как верховный судья — докторша. Она непререкаемый авторитет: только она может позволить выписаться из больницы, и знает, когда настанет это время — а настанет ли? Иные выписывались, а потом через два месяца возвращались снова. Она знает человека насквозь, буквально «до мозга костей».

Но она не знает, что больной в девятнадцатой палате — старый полковник: и первая мировая, и гражданская, и Русский корпус в Югославии под конец вот, до этого ранения в легкие... что у него была большая, пестрая, интересная жизнь, любимая жена, вот теперь дочка только что уехала в Америку.

Нет, она ничего не знает, и этого не видно на рентгеновском снимке, зато ей видно другое: глаза больного. Грустные, отмеченные особой печатью глаза, смотрящие с тоской, надеждой, немым всегдашним вопросом. Эти глаза у всех больных. Они встречают ее во всех палатах, в коридорах, во врачебном кабинете. Они чуть блестят от лихорадки, иногда мутные и чуть липкие, как и все кажется липким в больнице, несмотря на натертые до блеска полы, светлые стены, чистоту. Но липнет неистребимый больничный запах — резкий от лекарств, сладковатый от больных, потных тел — и смерти.

Докторша работает давно. Пациенты меняются: больница остается. В самом начале своей работы она прочла страшную книгу Томаса Манна «Заколдованная гора». Политические, философские и литературные рассуждения героев на сотнях страниц были ей совсем непонятны: на медицинском факультете этого не проходило. Но засасывающая, особая атмосфера легочной санатории сразу стала понятной. Ей часто потом приходилось вспоминать Манна; она видела то, о чем он писал, каждый день.

Полковник не читал Томаса Манна. Философия всегда пугала его своей сложностью, от нее болела голова и становилось скучно. Но душевные провалы «Заколдованной горы» он переживал сам, — а это хуже, чем в книге. Книги вообще доставал, но с трудом; русские библиотеки в Западной Германии неохотно посылают книги в больницы, что и понятно. Книжных магазинов нет; да и мало теперь стало книг вообще, после второй мировой... то ли было раньше, у них в Югославии!

Он часто рассказывал о старых книгах соседу, тоже офицеру, но другой части: советскому капитану. Когда тот попал первый раз в больницу, то дичился, смотрел исподлобья, нервно хватался за термометр, и высчитывал дни: когда выйдем.

— Как в лагере здесь, — бормотал он, и уходил в себя, в беспокойные, тоскливые думы. Только бы выйти!

Он вышел, несмотря на совет докторши, слишком рано — и через два месяца вернулся снова.

Операцию не повторили, но началось нудное, медленное, с переменной надеждой лечение, и оно сломило его.

Он не рвался больше. Сперва молчал, потом, со скуки, стал больше интересоваться окружающими людьми, и часами вел с полковником разговоры, не всегда доверчиво, но внимательно прислушиваясь к его рассказам. Дошло даже до того, что, после долгих и хитроумных переговоров — хитроумных потому, что немецких слов у них обоих, сложенных вместе, не хватало для одного разговора — им удалось устроиться в той же палате на двоих, и на террасе они сами поставили рядом свои койки. Теперь, весной, можно было дольше лежать на террасе.

... Полковник оторвался от окна, за которым, по его мнению, докторша просматривала снимки, и перевел взгляд на небо. В защищенном со всех сторон солнечном прямоугольнике двора резкий горный ветер казался весенним.

— Снег сошел уже — видите, какие сухие плиты на дворе? — сказал он. — Фиалки, наверно... скоро Пасха. А на Пасху, знаете, без России не обойтись. Я вот как раз над этим думаю. Скажите по совести: есть ли у вас такой день в году, когда вы без Советского Союза не можете обойтись? Скажем, там, первое мая, или октябрьская революция, или смерть Ильича, день армии... что еще? Вот вы там родились, там выросли.

— Весна у нас другая, это точно.

— Я об одной весне не говорю. И о родине тоже. Родина, она, может быть, каждый день нужна. А вот читал я недавно в газете:



пишет одна журналистка о том, что, мол, надоели все эти пасхальные воспоминания о белоснежных скатертях, пора переменить пластинку и, вообще, почему-то у всех вдруг в прошлом оказались белоснежные скатерти. И тут я задумался, потому что чувствую, что она неправа, а в чем — сразу сказать не мог. Потом понял.

— Обмозговали, значит, — лениво тянет капитан. Тема интересует его мало, но почему не поговорить. Мать пекла, конечно, куличи на первое мая, и красила потихоньку яички, но это больше в детстве, потом редко приходилось бывать дома в эти дни, одни парады и демонстрации сколько времени для подготовки требовали... нет, без этого он с удовольствием обойдется...

Иногда заходили в церковь, в особенности уже здесь, в плену, потом в эмиграции. Хорошо вспоминалось в церкви — все о том же: свечка перед иконой, и мать, торопливый взмах руки — мать крестилась мелко-мелко, и его крестила... старая ракита у пруда — вербы наломал однажды у речки, охапку в церковь — Вербная суббота, сказала мать. Ледоход тогда еще был.

Давно не видел он ледохода, не слышал настоящего запаха талого снега, шумной, дружной, родной весны. «Белоснежные скатерти!» Что ж, а разве у них не было? Отца раскулачили, и дом их в деревне, под тесовой крышей, пошел под сельсовет, а они жили в пристройке к баньке, но и ту отец сложил из бревен так прочно, что она и советскую власть перестоит; и были у матери из приданого тканые шитым красным узором тонкие холщевые скатерти, которыми застилался стол на праздники, и везде, в самой бедной колхозной избе, и так, где приходилось бывать, у товарищей по полку, на заводе — нет, повсюду они были, эти праздничные столы. Но придет же в голову людям рассуждать в газете о скатертях!

... А почему? — слышит он снова голос полковника, — тот говорил дальше, но он задумался и не слушал, — почему это так? Вот я лежу, смотрю сейчас на эту стену, на небо над ней, а у меня, поверите ли, перед глазами картины проплывают, одна за другой, и настоящие, и то, что сам видел, все сливается в одно. Начиная с того, что «Грачи пролетели», вспомните: такие вот деревянные церковки, с которых великопостный звон слышится — вы то уж не слышали, а я вам скажу, что просто видно, как он застревает в сучьях деревьев, в весеннем небе, грачиной стаей разносится; и вот от этих проталинок, посеревших льдин на реках и озерах, да распускающихся почек на тополях, до первой чере-

мухи, как боярышня в фате... Я, знаете, по части Рафаэлей не мастер, но вот Левитан, Маковский, Нестеров, Билибин, да сколько их! — уж до чего хорошо они Россию писали, и именно весной, когда у нас весна с Пасхой так сливается, что не разделить, не понять, что от чего: тут и природа, и сказка, и церковь, и история, — все вместе, неотделимо и радостно все.

— Немцы тоже яйца красят, а больше шоколадные, с зайцами, прячут в гнезда, чтобы дети искали — подает реплику капитан, неохотно, потому что сам тоже вспоминает картину: где, когда видел? В музее... Идут вечером боярышни из церкви, девушки с фатой, разодеты в парчу и бархат, в меха закутаны, и все свечечки в руке держат, в таких же голубых и розовых бумажках, как он однажды совсем маленьким видел. Очень его поразило тогда: на картине шли бояре — художнику захотелось парчей щегольнуть, а он помнит, как такие же свечи несли девчата в старых полушубках и платочках. На тысячу лет разницы хватит, а бумажки те же, и свет на лицах такой же...

— Еще я подумал, — доносится голос полковника, — как мы, мужчины, обязаны этим русской женщине. Празднуют теперь всякие женские дни, а об этом не вспомнят. А мы этого кусочка России никогда не сохранили бы так, если бы не они. И ведь где бы то ни было: не говорю уже о славянских странах, но в любой загранице, на Западе, в Америке, в Уругвае каком-нибудь, с кактусами и пальмами, где уж совсем не похоже, так нет же: не дай Бог, чтобы куличи сели! Любая. И спечет, и приберет, белую скатерть постелит, яйца покрасит, пасху творожную горкой сделает, свечку воткнет, цветок поставит, и как взглянешь на этот стол — что ж вы думаете, только чтобы выпить и закусить, обрадуешься? Нет, не только, это уже вторая мысль, а первая то будет все-таки: вот и праздник, и солнце, из России, будто за окном и вербочки и березки, и колоколенки и поля, и Христос Воскресе. Выразить не умею но чувствую, что именно так, и была у нас эта белая скатерть раньше, не права госпожа журналистка, у всех была своя, доподлинно, и есть у всех, и будет, благодарение Богу и дальше, потому что правильно говорю вам: нельзя на Пасху без России обойтись!

— А без Пасхи, по вашему, тоже нельзя?

Полковник открыл рот, чтобы сказать резкое слово, но снова закрыв его, поморгал ресницами, и одумался. Ну, что с него возьмешь, и что ему ответить, чтобы понял? Приподнялся на

локте, даже одеяло сдвинулось, но нашел, и наклонившись к лежащему рядом, в упор спросил:

— Вот вы обошлись, и как: лучше?

Откинулся назад с полным сознанием своей правоты, и почувствовал, что его снова лихорадит.

Капитан помолчал, обдумывая в свою очередь ответ. Казенные слова приелись, а своих не было. Снова вспомнил что-то и во рту стало горько, как от лекарства.

— Лучше или нет, а вот нам с вами в этой больнице придется обойтись без. Католическая Пасха через неделю, а наша неизвестно когда, ни к вам, ни ко мне никто не приходит, других земляков в наших палатах нет, похристосоваться будет не с кем.

— А мы с вами на что? — почти весело уже подмигнул полковник.

— Так я ж...

— Можно и со столбом! — уверенно сказал полковник, и повернулся на бок, чтобы задремать.

Солнце звенело и рассышалось по террасе, сквозь закрытые веки дрожали какие-то зайчики, расцветала черемуха, мягко касалась лица верба, и покойная жена в расшитом жемчугом кокошнике — или это Таня в Америке? — вносила пышный, румяный кулич со стекающими каплями глазури, как жемчужная поднизь, и алой бумажной розой, воткнутой в него вместе со свечкой. А за окном уходили в даль серозеленые билибинские поля и светлое, прозрачное небо, и гудели все московские колокола... «Воскресе из мертвых»...



Умирили обычно в сто первой палате — маленькой комнатке в конце коридора; католический священник и лютеранский пастор хорошо знали туда дорогу.

Докторша иногда встречала их в коридоре — казалось, что ей, лучше знавшей больного, надо было сказать духовному врачу историю болезни. Но диагноз был один и тот же, и совершенно ясен, — а что пережил человек перед тем, как послать за священником — этого она не могла знать, большей частью.

В этот день у нее было ночное дежурство, и она вышла раньше из дома в городе, чтобы дойти до больницы пешком. Больница находилась за городом, почти уже в горах, последний кусок дороги шел лесом.

Докторша свернула на боковую тропинку и нагнулась, чтобы нарвать пролесков — крупных, лиловатых, как фиалки, хотя и

знала, что они не выдержат больничного запаха. Но они так заманчиво синели на темных прошлогодних листьях, и докторша подумала невольно, что весной всегда умирает больше больных. Именно весной, когда все оживает кругом, у всех вспыхивает надежда, даже у безнадежных — справедливо ли это?

Весной и осенью... но вот осенью эти листья облетели, они отцвели, высохли, не нужны больше, — понятно: круговорот жизни. Зимой слежались под снегом, а теперь мешают молодой поросли, пробивающейся сквозь них — и чего не вымел осенний ветер, подметет начисто весна...

— Надеяться надо до конца, — вслух повторила она привычную фразу и почему-то вспомнила о двух русских больных, так смешно коверкавших немецкие слова, и так благодаривших ее за все, что она проделывала по отношению к ним, и сотням других больных, совсем не испытывавших такой благодарности. Смешные люди! Ведь это ее обязанность. Наверно, много видели горя, и потом одинокие, иностранцы, все кругом чужое, сговориться толком не могут...

Пастор, медленно поднимавшийся на гору в своем автомобиле, затормозил и окликнул ее.

— Фрау доктор, вы еще не устали собирать цветы? Садитесь лучше — я сегодня опять к вам...

— О да, знаю... — кивнула она, садясь с ним рядом.

— Скажите, ваша милость, — начала она не совсем уверенно, — вы знаете русскую религию тоже? Нет, нет, умирающих русских не предвидится, оба выздоровеют — насколько я понимаю. Но вообще... они как-то иначе празднуют Пасху, я слышала. Сами они не могут мне объяснить, знаете, оба «никс гут».

— В восточной церкви, — сказал он, — совершенно изумительным, высочайшим лейт-мотивом проходит утверждение Воскресения Христа, воскресение души, вечной жизни, и это связано с воскресением природы, что в особенности понятно на севере, на их бескрайних просторах, и придает такую глубину, торжественность и радость их вере. Они это чувствуют сердцем — больше, чем мы, вероятно.

Пастор говорил долго, до конца дороги, и докторша думала, слушая его, что тот снимок, который он показывает сейчас ей, проникает гораздо глубже, чем ее аппарат. Да, не только одним лекарством может быть жив человек!



В воскресенье врачебного обхода не полагалось. Полковник вытаскил после завтрака письмо Тани из ночного столика и снова принялся его перечитывать. Таня нарисовала на заголовке вербу и яичко, и писала, что послала ему воздушной почтой куличик и два яичка — шоколадное и красное, и пучек вербы — в их штате растет верба. Но посылка не пришла во время — Таня писала, что Пасха у них в это воскресенье.

Теперь он был рад, что не сказал об этом капитану, как хотел сразу, — тот стал бы еще отпускать замечания.

Полковник вздохнул и спрятал письмо в столик, — кто-то вошел в палату — сестра?

Нет, это была докторша, — что совсем не полагалось в воскресенье, и даже без сестры. Она подошла прямо к их кроватям, встала между ними и, сунув руки в карманы халата, улыбнулась сперва одному, потом другому.

— Христос Воскресе-се! — сказала она, и вспомнив еще что-то, поклонилась им в пояс. Потом, вынув разом обе руки из карманов, положила каждому на столик ослепительно голубое яйцо с пышным желтым бантом, и начала было быстро говорить что-то по немецки, но увидев, что по лицу полковника сперва медленно, а потом все быстрее покатались слезы, замахала руками, потрепала его по плечу и быстро вышла из комнаты.

— Что же это такое? — бормотал полковник, никак не справляясь с собой. — Христос Воскресе! Сказала. По русски сказала! Христос Воскресе! Что же это? Господи, за что же мне такая радость?

Капитан что-то хмыкнул, и вдруг широко шагнул от своей кровати к нему и раскрыл руки.

— Воистину Воскресе, полковник, вот что! — произнес он сдавленным голосом. — Нет, не обойдемся мы! Воистину!



## Звонок по телефону

Дождь. Узкие, холодные нити вытягиваются во всю длину, со всех сторон, справа, слева, бьют по стеклам с издевающимся злорадством, Где же вечерняя романтика и успокаивающее баюканье ноктюрнов? Улицы в взвихренной геометрии пересекающихся параллелей, фонари, витрины, освещенные окна домов мечутся в черных, блестящих лужах и что то кричат, только их не слышно . . .

В такую погоду хорошо только дома, в уюте тепла и цветов — хотя бы только вышитых на подушках и нарисованных на стенах. Да, дома . . . но дома — нет, остались только дома. Вот как этот — отдельный номер. Каждая вещь, как зеркало: в него смотрятся мимоходом и оно не сохраняет ничего из ненужных отражений.

Угол стола, например. Неудобное кресло рядом. Черная лакировка телефона. Сильно подкрашенные брови под рыжими локонами слишком тяжелы для усталых глаз. Вызывающая краска на губах кажется, мешает им улыбнуться, ласково и грустно. Это больше подходило бы к лицу. И к мыслям тоже. Мысли стучатся, как дождь, и в них тоже взвихренные параллели . . . Крохотные молоточки навязчиво отстукивают что-то, гамма поднимается и падает, как капли за окном, как . . .

. . . «Два-восемь, два-восемь, два!»

Она прекрасно знает, что это такое: телефонный номер. Она напевала его всегда про себя — тогда. Два-восемь — радостно.

Два-восемь — робко. Два! Как прыжок с замирающим сердцем. Этот номер был записан в уголочке записной книжки — как будто она могла забыть!.. Только номер, без имени. Но этот номер — о, она и тогда уже знала — она не забудет всю жизнь.

Вызывающая краска на губах оказалась бессильна. Губы улыгнулись — умоляюще и грустно. Пальцы протянулись к телефонной трубке и осторожно, как будто боясь разбить что-то, звякнули кружочками.

«Два-восемь... два-восемь... два!»

— Алло?

— Милый... это ты? Ты — дома? Это уже — половина счастья. Нет, нет, ради Бога, я не сошла с ума, я прошу только одну-две минуты, чтобы объяснить и тогда ты поймешь — милый, ради Бога! Если бы ты знал, что для меня значит одно уже сознание, что вот сейчас, на другом конце провода, ты держишь в руках такую же трубку и слышишь меня...

— Но позволь...

— Только одну минуту! Милый, дай мне объяснить тебе... Ты поймешь и, может быть, даже ответишь. Видишь ли, я здесь случайно, проездом. Но я так волнуюсь, выходит непонятно...

— Прежде всего — спокойствие.

— Да, ты всегда говорил так. Голос изменился немного, но... видишь ли, теперь, когда я знаю, что ты меня слушаешь, я могу говорить спокойно. Что же случилось? Ничего. Знаешь, иногда самое тяжелое именно в том, что ничего не случается. Я даже не приехала сюда, а просто проездом. завтра уезжаю снова. Чужой, пустой город. Впрочем, для меня теперь все города — чужие, и ты понимаешь, почему. Скука, одиночество, усталость. И все время эти мслоточки в ушах, стучат, как будто нашептывают что-то. Вот и подсказали — твой телефонный номер. Ты думаешь — я забыла? О нет. Слышишь — нет! Вот и позвонила тебе, как всегда, в нашем городе. Просто закрыла глаза и представила себе, как эта гамма побежит по проводам — в прошлое, на твою улицу, в твой дом, в твою комнату. И ты снимешь трубку и ответишь... Боже, как я боялась, что не... ты ответишь мне, а ктонибудь другой... другой. Ты меня слушаешь?

— Да.

— Милый, как я тебе благодарна за это! Ты не можешь себе представить, как тяжело молчать, всегда молчать. Знаешь, может быть и раньше я слишком много молчала. Может быть, ты даже и не знал, как я тебя люблю, как люблю... Помнишь,

ты всегда говорил мне: «Бедный Иорик!». Сколько раз я раскрывала Гамлета на этой странице и слышала твой голос... Может быть, если бы ты знал, как я тебя люблю, многое было бы иначе. И вот именно это я и хотела тебе сказать. Я тебя люблю! Только это, и ничего больше. Я любила тебя и тогда, и всегда, и теперь. Я ничего не забыла и часто вспоминаю, правда, не очень часто, но все таки, и каждый раз мне так больно, что ты этого не знаешь. И вот теперь, когда я сказала, мне стало легче. Видишь ли, если бы я могла хоть на могилу твою прийти.. Но ведь у меня и твоей могилы нету даже! Да, я знаю, что ты погиб — мне сказали об этом. Но меня не было около тебя, я тебя не видела, не слышала твоих последних слов, и вот иногда так хочется сказать тебе, и услышать хоть одно твое слово... Ты... ты не сердись? Ты теперь понимаешь меня, да? Я сейчас положу трубку и завтра уеду, и никогда — слышишь — никогда больше не вызову твоего номера. «Мгновения не повторяются» — ты любил говорить так. Но сейчас, на прощанье, действительно на прощанье — скажи мне чтонибудь, хоть чтонибудь, любимый мой!

— Бедный Иорик!

Рука с трубкой упала на стол. Женщина в кресле плакала, и слезы черными струйками разбегались из под накрашенных ресниц. Но губы улыбались — трепетно и нежно.

Сидевший за письменным столом в своем кабинете профессор прислушался еще с минуту, и медленно, как будто цепляясь за что-то, положил трубку.

Он не улыбался. Он подумал и повернул стоявшую перед ним на столе женскую фотографию в траурной рамке так, чтобы свет лучше падал на нее.

— Видишь ли — вполголоса произнес он — у нее был почти твой голос. А сколько раз ты спорила со мной, и доказывала, что современная техника только мешает свободе духа... Что же делали бы в наше время бедные души, если-бы они не могли — позвонить по телефону?

## И з з а ф и а л о к

Фима и Фея жили в одном и том же доме, выходявшем на площадь с пятью углами. Дом и был одним из этих углов: позеленевшие стены, ржавая заплатанная черепица угловатой крыши. Наверху окна были сделаны очень большими, их наверно пробили недавно, и потому казались они светлыми и тоже заплатами, как и жечь в пряничной каемке черепиц; а внизу были шаткие изъеденные двери с разинутой львиной пастью на фронтоне.

Фею все звали так, сокращенно и ласково, хотя настоящее ее имя была Фелицита, и она мало чем походила на принцессу эльфов: глаза были только красивы, цвета затонувших фиалок, и руки. Такие руки должны быть у художников и нежно волнующих женщин в старинных усадьбах. Но Феина усадьба давно уже потонула в половодье революции, а сама она работала в переплетной мастерской и этим исчерпывались ее художественные склонности.

В мастерскую уходила с утра. Там пахло разными сортами бумаги, миндальным клеем, тяжело повизгивали прессы, и с серого халата мастера, золотившего буквы, осьшалась, как с крылышек моли, мельчайшая золотая пыль.

Фее давалась самая тонкая работа: она переплетала изящные томики стихов в сафьян и муаровый шелк, подбирала парчевые переплеты к сказкам, и обтягивала замшей громадные исторические тома. Она умела вышивать крышки книг бисером и вкрап-

ливать в них разноцветные инкрустации, прожигала бархат коричневыми буквами, выбивала медные уголки, и вообще гордилась своей работой. Красивая книга может дать много утешения, в особенности, если подняв от нее глаза, увидеть в узком высоком окне бесцветное небо и знать слишком хорошо, что когда оно потемнеет, то надо идти домой и кончить сегодняшней, и много еще завтрашних дней. Да, книга — это утешение всегда.

Дома был муж, низенький, толстый, в круглых больших очках, румяный и медлительный. Он служил бухгалтером, стройно выводил ряды цифр, а дома надевал аккуратный халат и такими же рядами перестраивал книги на своей любимой полке: увлекался историей искусств и слыл большим знатоком прерафаэлитов.

В жизни проявлял иногда некоторую сентиментальность: — следил за тем, чтобы на зеленых надоевших столах у каждого служащего в дни именин появлялся завернутый в выгнутую бумагу вазон с дешевыми сезонными цветами, предпочтительно «со значением». По воскресеньям ходил в кинематограф, чаще на дневные сеансы, когда воздух чище и медленнее разворачивают фильм.

Хозяйство вела сестра Фея. Она была моложе, современнее. Вычистив до блеска кухоньку, усердно красила губы и уходила в университет. Училась больше из самолюбия, чем склонности, будущее свое строила на осторожном флирте.

В сущности Фея была довольна своею жизнью, и только изредка чувствовала, что ей чего то не хватает. Это ощущение надвигающейся пустоты, увлекающей куда то в стремительную бездну, стало чаще особенно с того времени, когда у них появился Дамиан.

Внизу под лестницей, окна нижней квартиры выходили в крохотную закутку двора, стиснутого старыми стенами. Там было всегда темно, сыро и пахло кошками.

Фима жила в одной комнате, другую сдавала, и когда за стенкой поднималась брань, грозно стучала метлой. Фима была большая, угловатая, толстая от накрученного поверх пальто синего передника, с жесткими, как расщепленное дерево, руками, и совершенно бесцветным плоским лицом. Сжатые в ниточку губы, белые брови, неукротимые буйные глаза точечками, намалянные ярмарочным художником дешевой лазурью.

Когда то Фима была замужем и муж называл ее Фимушкой, а чаще Фимкой. Он круто пил, больно бил и ругался, с остерве-



нением выдумывая новые слова. Фима не знала, где он теперь, втайне надеялась, что либо спился окончательно, либо в тюрьме. На расспросы огрызалась, делала все молчком, исподлобья: раз навсегда она сурово осудила жизнь.

Мести лестницу и выбоины узенького тротуара перед домом, на котором самое большое место занимал деревянный люк помойки с тонкой струйкой липкой грязи, просачивавшейся из под прижатого кольца, — доставляло Фиме некоторое удовольствие. Она любила эту работу и торжественно надевала зимой серые перчатки без кончиков пальцев, чтобы удобнее было держать метлу. Пятиугольная площадь была ее настоящим хозяйством, она знала ее наизусть, знала, какой уголок и когда освещает солнце, как меняется площадь от проходящих в разные часы людей.

Наверху в их доме жила переплетчица, видно, из бывших благородных людей; на лестнице как то остановилась, надевая перчатки, и Фима видела: руки такие бледные, как будто светятся в темноте. Каждое утро стучала каблучками, потом приходила на обед, уходила, возвращалась вечером. В сумерках ее лицо становилось старше, усталым и ровным, глаза скользили вокруг, не замечая, думала она наверно о каких то своих особенных вещах, никчемные такие мысли.

Сестра ее — фря, гордая девченка, губы мажет, как людоедка, ничем не лучше ресторанных девиц. Муж у этой наверху человек аккуратный и квартирка хорошая: Фима заходила к ним как то починить водопровод, она в доме за дворника, так видала: чисто, в столовой рояль и большая картина во всю стену, парк какой то: под краской холст виден.

Теперь Фима стала интересоваться всем, что делается в верхней квартире, потому что туда стал почти каждый день заходить Дамиан, а про него ей все нужно было знать.

Каждый день, часов в пять утра, Фима приходила в ресторан, выходящий вторым углом на площадь: мыть посуду на кухне, вытирать мокрыми, пропахшими пивом тряпками черные от пепла лужицы на мраморных столиках, сметать в кучу окурки. Чистой публики здесь не бывало: больше в кепках и мятых шляпах, с небритой губой. Приезжали ночью и горланили до утра.

Фиме был хорошо знаком дым этот синий, винный перегар, мерзость и грязь ресторанный, пьяные слезы и песни. Только теперь приходила она раньше, и, поджав губы, становилась у стеклянной внутренней двери с тряпкой в руке, будто ожидая,

чтобы войти. За дверью, у черного пианино, сидел Дамиан, худенький такой и бледный, тоже наверно не сладко всю ночь барабанить.

Дамиан держал себя очень независимо: днем учился в консерватории, с вечера до утра играл в ресторане. Кроме того, занимался гимнастикой, чтобы беречь здоровье, идеально крахмалил сам себе белье, и тщательно разутюживал чуть ли не каждый день единственный приличный костюм, потому что иначе чувствовал себя погибшим человеком.

Ели бы его одеть в цветной фрак с кружевными манжетами и фуляровым платком вокруг шеи, то любой художник мог бы писать с него портрет маркиза тридцатых годов прошлого столетия. Но Дамиан ограничивался тем, что любил музыку, женщин, свою гордость и молодость, и твердо верил, что каждый день хорош, потому что может быть чудесным.

Кроме того, ему везло. Знакомый бухгалтер, живший напротив ресторана, любезно предоставил в его распоряжение старый, замечательно певучий Стейнвей, а жена бухгалтера с поэтическим именем Фея и всегда чуть затуманенными глазами умела чутко слушать. Дамиан часто играл с ней в четыре руки: она вторила мягко и бегло, приятно сливала с ним тон, и он любил смотреть на ее руки на клавишах — не руки, а перламутровая поэма.

У сестры ее только губы были яркими, а в остальном — бесцветный холодок. Дамиан относился к ней безразлично. С Феей же любил вести длинные разговоры, сумерничать. В ней нравилась какая то старинная хрупкость, и она читала много книг и давала ему ценные советы. В вопросах красоты Дамиан был очень строг и учился всему.

Когда часы отзванивали восемь, он быстро поднимался, застегивал ненужную пуговицу, и, картинно поцеловав руки, спускался по лестнице очень прямо и весело. Надо было перейти через площадь и сесть за разбитый отчаянный инструмент, который он презрительно называл «шкапа».

От предлагаемых рюмок Дамиан вежливо, но решительно отказывался — с него достаточно было одного запаха и обалделых, одеревяневших лиц. Под утро, когда всем становилось уже все равно, Дамиан позволял себе иногда увлекаться, варьируя заказанные ему мелодии так, что даже на этой «шкапе» они начинали звучать.

Вот таким слушала его Фима. Фима знала, что Дамиан — не фамилия, как думали многие, она посмотрела в святцы, и необычность звучного «Дамиан» вместо обыкновенного Демьян почему то смутило ее. Фима с болью заметила однажды оторвавшуюся пуговицу на манжете и чувствовала, что ему, такому разутюженному и чистенькому от этого неловко, а зашить, верно некому.

Фима жадно глотала с чужих губ все обрывки разговоров, в которых упоминалось его имя. Она не призналась бы в этом никому, конечно, да и сама не могла разобраться — почему ей вдруг так понравился этот красивый мальчишка? По годам он быть может ей в сыновья годится.

Но не в этом дело, и не в том, что он может быть и не видел никогда за стеклом двери приплюснутого носа, мокрой тряпки в руке. Не знал, что будет она перетирать чистеньким лоскутком от своего старого платья черно-белые лады инструмента потом уже, когда он уйдет; а если бы он вдруг остался и заговорил с нею, то о чем же, о Господи?! Разговоры — это с той, наверху, Фима видела, как они стояли у окна рядом; эта ему подстать, или какая другая, еще лучше.

Дело совсем в другом: в том, что Фима почувствовала вдруг однажды, что у нее расплываются губы в ласковой, умоляющей улыбке, и еле успев спохватиться во время, огрызнулась на подошедшего кельнера.

— Ну, чего стоишь? Гони в шею этих пьяниц, наакались, свет на дворе уже. Красавчик может еще до полудня барабанить будет, а я стой и дожидайся.



Дамиан приходил по вечерам разговаривать, а по утрам, если ему надо было разучить какуюнибудь вещь. Фея в мастерской, муж в конторе. Сестра равнодушно прислушивалась из кухни к пассажирам. Так было и в этот день.

Придя на обед, Фея прошла в столовую и удивленно остановилась. В низенькой, молочно белой вазочке, служившей иногда пепельницей, рассышался на широких круглых листьях букетик крупных, темнолиловых фиалок. Фея очень любила фиалки, и, пожалуй, больше всего эти осенние, такие большие и темные, без запаха, таинственные и сумрачные, как стихи. Кто их принес?

— Кто принес фиалки? — спросил муж, когда Фея прошла на кухню, чтобы вымыть руки. Он стоял там, внимательно следя за приготовлением горчицы.

— Фея, — быстро сказала сестра, — я сама видела.

Фея недоуменно взглянула на нее — она только что собиралась поблагодарить за фиалки сестру.

— Ты?! — удивленно спросил муж. Крутые стекла очков блеснули недоверчиво. Сестра чуть улыбнулась, опуская уголки накрашенных губ. Сестра никогда не покупала цветов, считая это старомодным. Муж подносил только в именинные дни. Больше никто не приходил, кроме Дамиана... неужели Дамиан принес ей фиалки?

— Ну да, я купила их еще вчера, у меня была мелочь, — быстро сказала Фея, слегка покраснев, и вышла из кухни.

Почему сестра не сказала сразу, что букетик принес Дамиан? Что же тут удивительного? Он так часто бывает у них в доме... внимание, любезность. но сестра солгала, и хотела, чтобы Фея поддержала ее — почему? Потому что этого не должен знать муж. Он может подумать, что... что именно?

Лиловый букетик на столе стал вдруг таинственным и волнующим. Какой милый! Сам принес, сам поставил в вазочку... потихоньку, чтобы доставить ей удовольствие. Себе, наверно, он отказывает во всем.

Обед прошел молча. Муж был деловит и сосредоточен, приглядываясь к чему то, Фея чувствовала себя виноватой. Почему не сказать правду? Но знала, что теперь уже не скажет. Пусть эти фиалки останутся такими же сумеречными и нежными, как их разговоры с Дамианом. Не для других, а только для себя.

Улыбку его она тоже бережет, вспоминает потом. оставшись одна, о ней — заразной, чуть лукавой и торжествующей — как будто вот и нет ей запрета, и не может быть, потому что каждый может брать то, что ему нужно. А как он подчеркнуто красиво целует руки! Может быть, когда они встретятся следующий раз, поцелуй будет более долгим?

— Я вам так благодарен, Фея, больше, чем вы можете себе это представить, — он не закончил фразы, уходя, — и может быть, теперь это недосказанное закончено — фиалками?

Фея поздно вышла замуж. Все надеялась, что придет кто то, красивый и смелый. Были увлечения, разочарования. Как то вдруг спохватилась, что больше ждать нечего. Четыре года замужества прошли незаметно — работа, книги, дом. Все это конечно



совсем не главное и не нужное, но за пустяками забывается о том, что уходит жизнь. С тех пор, как у них появился Дамиан, она вспоминала об этом чаще — слишком уж сияющей была его улыбка. А какой она должна быть для той, которую он любит!..

День давно уже кончился. Фея долго курила, смотрела, как темнели фиалки, пока не стали совсем черными. В комнате ходил дым, сливался с гаснувшим светом пасмурного дня, и все крутом, каждая мелочь, вплоть до Феинового серого платья казалось мягким, безнадежным, обволакивающим усталостью, от которой тухнут глаза и никнут плечи. Но ведь Фея может засмеяться еще, победно и ликующе и... дать поцеловать не только руки.

Выйдя на лестницу вместе с сестрой, Фея спохватилась:

— Почему ты сказала, что я принесла фиалки?

— А разве не ты?.. Что ты говоришь! Право, я была уверена... ого, Дамиан начинает не на шутку ухаживать.

— Что за глупости!

— Ты думаешь, что я ничего не вижу? Достаточно посмотреть, как он целует тебе руки. Настоящий маркиз! Поздравляю. Мне лично он не очень нравится. Замаринованный эстет. Но это в твоём вкусе. Помнишь, тот...

— Брось! Ничего подобного!

— Чего же ты тогда так волнуешься? Меня не проведешь, Фея, да ты и сама отлично знаешь, что это так...

— Я просто думаю, что Дамиан сам очень любит фиалки...

Они пошли дальше, не заметив Фимы, стоявшей под лестницей. Она только что взяла совок и метлу, чтобы идти на улицу.

«Фиалки», — повторила про себя Фима и снисходительно улыбнулась. Вот, то-же... словно баришня. Музыку играет и фиалки любит. Чудной.

Она вышла на порог, посмотрела вслед удаляющимся фигурам и принялась скрести тротуар.

Сейчас площадь красива. Сумерки закутали углы туманом, и в нем оранжевые огни фонарей. Люди проходят спокойно, неспеша. С женских плеч свешиваются меха, проплывают облаком духи, солидным баском рокогут мужчины...

— Купите фиалочек! Фиалки хорошие!

С рынка возвращается торговка. В большой корзине смятые непроданные астры и ворох маленьких лиловых букетиков. Надо их сбыть поскорее, а то к завтрашнему дню завянут, ненадежный товар. Астрам ничего, их хоть щеткой причесывай, а эти — чуть что и завяли.



Фима слышит голос торговки еще с дальнего угла и хмурится. Что она, с ума сошла, что ли? Деньги на ветер кидать? Лучше уж нищему подать, хотя все они тунеядцы, обманщики.

Но когда торговка, безцельно покричав, подходит ближе, Фима, сурово нахмурив брови, поднимает полу пальто, достает из кармана юбки толстый старый кошелек и долго роясь в нем, вынимает негнущимися пальцами серебряную монетку.

— На. Давай вот этот, что ли. Не пропадать же им.

Торговка удивленно смотрит на нее, и Фима чувствует, что краснеет до ушей.

— Проваливай дальше, тут тебе не базар, — ворчит она, и схватив метлу, втянув плечи, как от позорного дела, ныряет под лестницу. В руке зажат крохотный лиловый букетик. Фима смотрит на него под желтой мигающей лампочкой, и растопыривает пальцы, чтобы оберечь, не смять.

Какие они жалостливые, цветочки, того и гляди раздавишь. Вот и душа у него такая же нежная, молоденькая совсем. Каждому игрушку хочется...

Фима высыпает на комод оторванные пуговицы, завалившиеся иголки. Они аккуратно хранятся в старой лампадке толстого вишневого стекла, со сломанной ножкой. Дырку она подклеила воском, а лампадку купила новую, белую, эта же стоит на комодке так, для чего придется.

Теперь Фима осторожно моет рубиновую лампадку, протирает кончиком передника круглые выбоины узора. Надо поскорее, чтобы там, в ресторане не заметили. Засмеют.

— Тряпку свою на струменте забыла, — ворчливо говорит Фима, оттопыривая одной рукой передник, а другой отстраняя кельнера, изогнувшегося у притолки — что, красавчик этот пришел уже?

— Сейчас придет, а ты не бросай тряпок. Он строгий.

— Знаю, знаю.

Фима боком подходит к пианино, смахивает невидимую тряпку, оглядываясь, вытаскивает из под передника лампадку с фиалками, ставит ее на крышку и отойдя на шаг, любуется. Вазочка хоть куда, так и светится. Ну, вот...

У стойки звенят стаканы. Фима шмыгает в дверь, сопя и краснея, и даже не бурчит на ходу, по привычке.

Фима не спит всю ночь, тяжело ворочаясь, прислушиваясь, как скрипит кровать и нудно стонет пьяный жилец за стеной.

Может грех — ставить в лампадку цветы? А иголки класть — не грех? А если кто видел, как она поставила, или Дамиан спрашивать начнет — и теперь все на кухне над ней зубы скалят? Ну, с ними то она рассчитается сразу. Понадобится, и в зубы даст. Разговор короткий.

А он играет, да нет-нет и взглянет, любит ведь эти самые фиалки. Вот и поймет, что не все только пьяные рыла кругом. Может быть, зайдет к ней поблагодарить... смешно даже. А вдруг? Сел бы вот здесь за стол, она постелит чистую скатерть, поставит самовар. И варенья есть одна баночка, для баловства сварила. Водки она не любит, ну ее, погань, и без нее то уж сейчас голова кружится, в груди дух захватывает. Господи, да она не будет знать, куда руки девать! Что сказать то ему? Слова у нее как метла — и скребут и дерут.

Очень вам благодарен Евфимия Ивановна, — скажет Дамиан, — напрасно старались, а я вот всю ночь играю и смотрю, смотрю и играю, и думаю — кто бы это? Не иначе, как вы. Давно вас заметил. Вы рабочий человек, я тоже. Греха тут нет, Евфимия Ивановна. У всех у нас тяжелая жизнь.

Тяжелая жизнь! Уж тут она ему все расскажет, все...

Вечером Фея вернулась из кинематографа. На экране смешно и мешковато одетая женщина, у которой муж больше всего интересовался жареной индейкой, странным сцеплением обстоятельств попала во дворец к настоящему принцу в маленьком немецком княжестве. Она надела парижское платье, сразу расцвела и похорошела, ужинала с принцем за одним столом, а потом, утром, ушла от него опять — в прежнюю жизнь.

Артистка не была особенно красива, но Фею поразили ее глаза — взгляд, уходя — глаза человека, прощающего со сказкой. Она уходила молча, и от этого молчания хотелось закричать.

Как всегда после кино, Фее казалось, что на нее самое смотрят тысячи глаз. Она легко двигалась, и сама залюбовалась своими руками, быстро переставлявшими на столе посуду и осторожно приласкавшими низенькую вазочку с лиловым букетом.

Сидевший напротив муж внимательно посмотрел на нее.

— Так, значит, ты купила эти фиалки, Фея? — спросил он, усмехаясь слегка.

— Да, конечно, почему ты спрашиваешь? — Фея старалась, чтобы ее голос звучал ровнее.

— Потому что я сам купил их по дороге из бюро. Ты что то грустишь последнее время, и мне хотелось обрадовать тебя. Почему ты солгала, Фея?

\*\*\*

Ночью Фея осторожно плакала в темноте, делая вид, что курит. Слезы падали непрерывно и устало, и она ровно переводила дыхание, чтобы не заметил муж.

Как могла она подумать, что Дамиан? .. О да, он очень ценит ее, как друга — но ведь друзьям не приносят фиалок, не делают волнующих намеков. Маленькая ложь, наполнившая ее всю еще не обманутым ожиданием, показалась Фее вдруг большим, потерянным счастьем.

Человек всегда надеется на то, что еще может, должно случиться — пока вдруг маленький пустяк — такой вот непринесенный букетик фиалок беспощадно покажет, что больше нечего ждать, что жизнь уже прошла, и нужно как то доживать, примирившись с последней потерей. В жизни должно быть счастье у каждого — но у многих его не бывает никогда.

Пьяная компания засиделась до утра. В шесть часов совсем рассвело. Желтые, как пиво, лица, желтые столы, желтые даже клавиши, синий дым. Под глазами у Дамиана темные круги, он встает, наконец, чуть заметно потягивается, хрустя пальцами. Скорее домой, под холодный душ и спать. Потом опять душ, гимнастика, и тогда он встретится с Эллен.

— Волга, Волга... доносилось с улицы, гудели еще желтыми голосами последние гости. Складывая ноты, Дамиан чуть не опрокинул нелепой красной вазочки, оказавшейся вдруг на крышке пианино. Кто ее сюда поставил? В тусклом красном стекле наполовину свернувшиеся фиалки, дымные и тоже не спавшие всю ночь. Дамиан улыбнулся чему-то и пошел к выходу. На ступеньках остановился, зажмурившись. Из-за острой крыши дома выплыло солнце.

— Букетик свой изволили забыть. Это вам преподнесли-с — хихикнул кельнер, присюсюкивая по старинке, и догнав его, сунул серо-лиловый комочек. Дамиан удивленно приподнял брови, брезгливо взял его, повертел в пальцах мокрые свисающие стебельки, огляделся. Рядом стояла, уставившись на него, толстая смешная баба, подметающая улицу. Он часто встречал ее и иногда удивлялся: чем может жить вот такой человек? А ведь эти голубые точки на белесом лице тоже смотрят на солнце. может быть, думают чтонибудь.

Дамиан повернулся и услужливо бросил букетик в большой серый совок из заплеванной грязью жести. Пусть она не подбирает его с улицы, по крайней мере, ей тоже облегчение. Ему показалось, что он сделал доброе дело, и он улыбаясь, пошел по улице, щурясь на солнце.

В этот день он сам купил букетик фиалок — больших, темно-лиловых и очень нежных. Эллен хотела приколоть их, но потом раздумала и оставила на столе.

— Я люблю фиалки, но только парижские, знаешь, из шелка. Их можно надушить, по крайней мере, а то эти почти не пахнут, особенно осенью, так быстро вянут.

У Эллен были золотистые волосы, нежный румянец и мелкие зубы в подкрашенном сердечке рта. Дамиан осторожно подал ей накидку, отороченную пушистыми лисами. Он не мог купить ей шелковых парижских фиалок. Он очень любил ее, и думал, что она поймет, и это было очень больно.

## К а з а ч ь я   н е в е с т а

Привычка рано просыпаться осталась у Луизы, но помечтать в кровати — наслаждение. Да, больше не надо вскакивать в шесть часов по будильнику и разрываться на все стороны под сухим, пристальным взглядом фрау Шпрехт. Три года в этом вылощенном скучном доме, где каждый кусок сахара отсчитывался в сахарницу и запирался на ключ! Фрау Шпрехт иногда являлась кошмаром во сне: сухой, острый нос и колючие пальцы.

Нет, теперь Луиза не горничная даже, а экономка, и у дипломатов. О да, между маленьким заморышем — Лизхен, — провинциальной невинностью, вечно голодной и с красными руками, явившейся из Маркт-Швабена под Мюнхеном в Берлин «прислугой за все», — и фрейлейн Луизой теперь разница не только в пятнадцать лет!

Луиза вскакивает, швыряет одеяло и очень тщательно принимается за туалет. У нее стройная фигура, свежая кожа, вздернутый нос, подбородок решителен и упрям. Черное платье из хорошей материи обтягивает грудь, а передник она наденет только, когда сойдет вниз. «Вниз» — это несколько этажей широкой лестницы в коврах, лучшего отеля в Берлине. Два года она вела хозяйство шефу иностранного бюро печати на его вилле в Ваннзее; но теперь вилла сгорела во время налетов, и они перебрались сюда.



Девять часов — надо приготовить завтрак. Шеф, еще кутаясь в халат, прошел в бюро и включил радио. Бюро служит и общей комнатой — они занимают весь этаж. После обеда, когда нет посторонних, можно усесться с починкой белья в кресло и слушать заграничное радио. Шеф ничего не имеет против и часто разговаривает с ней. Синьора Франчетта — итальянская журналистка — угощает ее сигаретами, хотя Луиза не курит, а прячет про запас. Или эта русская дама, Демина. Но с ней у Луизы совсем особые отношения.

Демина приходит каждый день на несколько часов, дает уроки русского языка шефу и слушает для него московское радио. Луиза незаметно для других подсовывает ей под блюдечко сигаретку, и всегда следит, чтобы у нее была чашка крепкого, хорошего кофе. Надо же доставить удовольствие человеку: ей так плохо живется.

Да, это не совсем обычные отношения. Демина интеллигентная женщина, не чета ей, — как там ни верти, а все таки экономке. Она тоже служащая, но у нее прекрасные манеры и меховая накидка, которую Луизе не купить и на годовое жалованье, а носит она ее так, как носят настоящие дамы — не заботясь о ее цене. У нее некрасивый, но очень симпатичный муж. Когда Луиза приходит к ним, он встает, здороваясь с нею — настоящий аристократ! Если рассказать сестре в Маркт-Швабене, какое у нее знакомство! И фрау Шпрехт не поверила бы, что она, Луиза, может просто придти к таким людям без приглашения и сказать: «Вот, фрау Нина, парочка форелей на ужин — сегодня достала у нас в отеле, надо же побаловать вашего мужа».

У них убогая квартирка во дворе и слишком уж несложное хозяйство разоренных войной беженцев, второразрядных иностранцев. Шеф Луизы — привилегированный, ему прощаются причуды и выходки; «остовки» на отдельной кухне — крепко сколоченные девки: их только жаль, особенно «Валью». Она напоминает чем то далекую Лизхен из Маркт-Швабена, и Луиза старается подкинуть им тоже чегонибудь. Ничего, отшлифуются и эти.

А вот такие, как Демины — это на середине лестницы. С одной стороны — благородное общество, с другой — жизнь, которой не позавидует жена чернорабочего: у той кастрюль и белья раз в десять больше.



— Мой сервиз, — улыбнулась Демина, приготавливая кофе, принесенное Луизой, — не совсем Розенталь, но пить из него можно, а это главное!

Луиза смотрит на знакомые разномастные чашечки с тарелочками вместо блюдца, и находит в них особое очарование, не понимая, почему ей так нравится, что хозяйка не стесняется своей бедности, и не прячет ее судорожно, как сделала бы немка. Именно в этой небрежности, по мнению Луизы, и проявляется широта русской натуры: это удивляет и притягивает.

— Непременно хочу брать у вас уроки русского языка, фрау Нина. А то я только и знаю, что — «пожалста» и «карашо». Майор говорил, что теперь образуется целая армия из русских: казаки и генерал Фласофф. Кто знает, в жизни случаются разные вещи...

Луиза начинает говорить задумчиво. Но как только мечте даны слова, она не может удержаться больше. Плотно, как боровик, усаживается в кресле, хлопает руками по локотникам, и в голубых глазах загорается дикая энергия.

— Вы знаете, фрау Нина, я часто ходила на лекции о России. Конечно, мне не все было понятно. Я кончила только деревенскую школу, все время работала, как вол. Вы знаете, что значит быть одной прислугой? Откуда вам знать! Вставала в шесть, ложились в двенадцать. Но зато я посмотрела, как живут другие, и сказала себе: «Луиза, батрачить можно было и в Маркт-Швабене. Если у тебя голова набита не навозом, то ты добьешься чегонибудь. Надо только сжать зубы и кулаки..»

И Луиза выбилась. Она рассказывает всю свою жизнь. Через три года уже она была кокетливой, расторопной горничной, и перешла на другое место получше.

— Вот это была моя цель, фрау Нина: стать экономкой в приличном доме, лучше всего у одинокого дипломата, скопить себе приданое и выйти замуж. Вы не знаете, как трудно рабочей девушке найти себе мужа. Я, не говорю, конечно, о Францеле: таких много. Я очень долго держалась, но он тоже из под Мюнхена, земляк, и встретила я с ним за границей. Да, побывала в Швейцарии, служила там пять лет у одной англичанки, прекрасное место! Я всегда копила и откладывала. У меня в сберегательной кассе есть две тысячи марок, и потом вещи. Я покупала все, что нужно, для собственного хозяйства и посылала

сестре на хранение. Конечно, мебели нельзя было приобрести: она потрескается, но зато — все столовое и постельное белье, одеяла, кухонную посуду, сервиз, вазочки, утюг...

Луиза прищуривается от удовольствия, загибая пальцы при пересчитывании своих богатств.

— Когда я приехала к сестре посмотреть, нет ли плесени в ящиках, она мне сказала: «Я бы тоже могла пользоваться, все равно лежит у тебя без дела». Но нет, не дешево доставалось. Ведь так легко потратить деньги, когда живешь в большом городе. Я тоже не монашка, но всегда спорила с Францлем. Францль — говорила я ему, — ты тоже зарабатываешь, будем копить вместе. Через два года ты сможешь купить полный гарнитур для спальни, а я кухонную мебель и диван. Тогда мы сможем пожениться, взять квартиру, и иметь ребенка. Я не хочу кучи детей, но одного или двух. И свой дом, фрау Нина, понимаете?

Глаза Луизы сияют мечтой, и Деминой кажется, что она тоже видит ее глазами: уютная квартирка, веселые мальчишки — у Луизы непременно должно быть сыновья, — возвращающийся вечером с работы муж, — весь этот мелкий, но от того, что он выстрадан — ставший большим смыслом жизни, мирок.

— Что же Францль? — спрашивает она, хоть чувствует, что этого вопроса не стоило бы задавать.

— Ах, Францль! — Луиза жестко сжимает губы и передергивает плечами.

— Я же говорю — первое увлечение. Для иной это, может быть обошлось бы еще дороже, но мне стоило тысячу марок. Конечно, сперва было очень тяжело, но я удержалась все таки, и не бросила работу, как он меня ни уговаривал... В романах читаешь о любви. В молодости я тоже верила этому. О да, я и теперь еще молода, мне всего тридцать лет, я здоровая женщина, и, особенно теперь во время войны, всегда находится ктонибудь... Один майор постоянно приезжает в штаб, и останавливается у нас в отеле. Очень интересно рассказывает, и любит выпить. Ну, и лишняя сотня марок тоже не мешает, не правда ли? На то, что он мне подарил прошлый раз, я купила занавески для моей будущей спальни: тюлевые, а рисунок — розы, и кругом полосочки...

Она смотрит на хозяйку с таким наивным самодовольством, что той делается просто смешно. Интересно, как это в Луизе все уживается вместе: трезвый романтизм.

— Помимо всего, фрау Нина, мы живем под налетами, не правда ли? То, что упустишь сегодня, завтра можно и не наверстать. Но это все не настоящее. Я читала, что Россия — огромная, очень богатая страна, и там неограниченные возможности. А раз они убили всю аристократию, то не слишком разбираются в обществе. У нас я могу рассчитывать на унтер-офицера, скажем, а там — лейтенанта даже. Как вы думаете? Только вот эти большевики... Но мы победим, конечно, и тогда я еду в Россию. Или, раз здесь теперь организовывается эта армия, может быть, я найду когонибудь... Фрау Нина, найдите мне мужа! Мне не нужно, чтобы он был красив и молод. Пусть это будет солидный, хороший человек, которому тоже хочется иметь хорошую жену. Я выучусь говорить по русски, буду варить ему ваш кислый суп, этот «боршт», и буду пить с ним водку...

Демина ободряюще улыбается. Интересно знать, какая бы адская смесь получилась из этого?!



— Хватит у тебя пирогов? — спросил Демин, просовывая голову в кухню. Позади него на лестнице громыхали шаги, и в крохотной передней нельзя было повернуться.

— Привел соотечественников. Донцы. Есаул Каменский, сотник Павлиценко и хорунжий...

— Ваня — широко блеснули зубы в улыбке.

— И хорунжий Ваня, — закончил Демин, слегка улыбаясь.

— Понимаешь, Нина, выздоравливают в Потсдамском лазарете. Ну, как не угостить пирогом?

— Мы постараемся тоже принести чегонибудь в следующий раз — уверяет сотник, трясая руку, — а то вы ведь на карточки живете. Но консервы у нас есть, а вот пироги — это действительно соблазн. Ваш муж говорил, вы казачка?

— Да, отец командовал полком в Новочеркасске... Только я давно уже с Дона...

— А мы — недавно! — сияет Ваня. Он веселый и неуклюжий. У сотника — медное, обветренное лицо и твердые глаза. Есаул — самый старший и ничем не замечателен: невысокого роста, пристальный взгляд, резкие складки у губ. Серо-зеленые мундиры плотно обтягивают плечи, блестят сапоги. Новенькие ремни с кобурами укладываются на столик в передней и тут же замшевые перчатки. Они снимают их тщательно, перчатки — это вещь, особенно для хорунжего Вани.



Это не первые донцы и кубанцы, приходящие к Деминым в немецкой форме. Создаются полки и станицы в Берлине, штабы и армии, трагическая феерия РОА, над которой молитвенно развевается русский флаг. Но при встречах с молодыми хочется верить в победу, несмотря ни на что. А оттого, что их завтра, может быть, пошлют на фронт — становится жаль, и хочется приласкать.

Пирог удался, хотя тесто совсем серое от плохой муки. Вместо чая пьют темную воду — пиво. Рассказывают. Увереннее других чувствует себя есаул.

— Я среди наших — самый старший. Мальчишкой еще был у Деникина.

— Как же вы там уцелели?

— Скрывался. Переменил имя, работал грузчиком, потом попался, и как: встретил дочь бывшего полкового священника, обрадовался, разговорились... а потом следователь в НКВД сказал мне, что не стоит, мол отпираться, если со старыми знакомыми встречаюсь... суток пять допрашивал — на стуле. Отделался лагерем, на восемь лет. Если бы перед этим грузчиком не работал — не выжил бы... Потом снова закатали бы в лагерь, но помогла мобилизация, фронт. Понятно — перешел к немцам. За родину воевать можно только против Сталина. Но вышло — зря, поторопились мы: сколько миллионов бросило оружие, а сколько осталось в живых из них? Вот РОА только и спасла.

Просто рассказывается жизнь. Какая жизнь!

Когда раздается звонок и вбегает, деловито стуча каблучками, Луиза, Демина еще не может освободиться от тяжести мыслей.

— Разрешите познакомиться — мишинально произносит она, поводя рукой: — Лейтенант — капитан... капитан, ах нет, господин майор, простите. Фрейлен Луиза, — моя... коллега по бюро печати.

И только когда сияющая Луиза усаживается на кровать, служащую и диваном, между тихим сотником и есаулом Каменским, когда ее мгновенно вспыхнувшая предприимчивость, «ухватить момент», и польщенность сверх меры от слова «коллега», вместе с кокетливой скромностью и желанием блеснуть, смещивается в фейерверк улыбок и взглядов, «пожалоста» и «карашо», — тогда только Демина понимает, что она наделала.

И погубила Луизу.





Вначале это было забавно. Донцы часто заходили посидеть. При этом появлялась Луиза с таинственным видом и сумкой, набитой всякими деликатесами. Забавны были ее новые словечки и невероятный волапюк, на котором она объяснялась с есаулом. После второй встречи избранник стал ясен: «жерр майор Вольдемар фон Каменски». Луиза расспросила его, узнала, что он — офицер старой русской армии и дворянин. К Ване и тихому сотнику она относилась по матерински, но Вольдемар — о! о!

Есаул поправился от ранения, скоро на фронт: конечно, он не имел ничего против интрижки со свеженькой немкой. Конечно, он обещал ей жениться — когда кончится война, или даже еще раньше. Ей приятно называть себя «Браут» — а ему решительно все равно, «невеста» она, или нет. Хочет быть «Казакенбраут» — пусть будет. «Казакенбраут» стали ее называть все.

Прощание было трогательным. Условились о встрече на Рождество, провожали на вокзале, махая платками. Луиза улыбалась сквозь слезы и расцеловала всех трех.

Настоящий серьезный разговор был три недели спустя, когда она написала уже две открытки и два письма, высчитала все сроки для ответа, а от Вольдемара все еще ничего не было. Луиза являлась с синяками под глазами, побледневшая, молча протягивала Деминой сигареты, плотно усаживалась в кресло, и начинала:

— Скажите, фрау Нина, почему он не пишет? Я говорила: большое письмо трудно писать, лучше открытки. Фельдпост идет недели три, не больше. Сегодня я видела во сне, что ко мне приходит почтальон и приносит большую луковицу. Как вы думаете, это к письму?

— Видно, что вы потеряли свое сердечко, Луиза, — пыталась отшутиться Демина, которой уже надоело возиться с «Казакенбраут». — Надо только подождать...

— Сердце, фрау Нина, это еще ничего. Тут дело серьезное. Мы уже обо всем переговорили...

Демина подавляет улыбку, представляя себе «разговор». Луиза тараторила без умолку, дав полную волю своим заветным мечтам, а есаул попыхивал сигареткой, и время от времени хмыкал: «гут, натурлих».

— Я не девочка, фрау Нина, и любовь, это все хорошо, но надо практически подходить к жизни. Мой Вольдемар как раз

в таком солидном возрасте, когда надо заводить семью. Конечно, русских девушек тоже достаточно. Но я посмотрела на них — они ничего не умеют. Нет, Вольдемару нужна такая жена, которая его еще научит! Надо, например, подумать, что будет после войны. Не все смогут остаться в армии. Но для майора — а может быть, он будет тогда уже полковником — всегда найдется место в конной полиции, например, там у него будет форма и лошадь, раз казак не может быть без лошади. Я думаю, что когда у нас будут дети, то мальчики так сразу и родятся на деревянных лошадках!

Демина думает, что представить себе есаула рядом с вазочками Луизы — все равно, что корову в седле. Но Луиза постарается надеть на него и не такой хомут!

— Вначале он будет брыкаться, я думаю, — говорит она, найдя, наконец, самое мягкое выражение, — к семейной жизни тоже ведь надо привыкнуть.

— О, я умею обращаться с мужчинами. Иногда он мне кажется просто большим ребенком. Я уже просила его сделать все бумаги. Фрау фон Каменски! Фрау «фон» и муж — майор! Ах, фрау Нина, я буду такой счастливой! Но почему он не пишет?!!

Все таки, есаул написал ей открытку, путая русские слова с немецкими. Луиза выучила ее наизусть. Она послала ему сигареты и печенье в аккуратных коробочках, и писала каждую неделю. Получила еще открытку, но и только. Потом месяц молчания... два. Три.

Луиза перестала писать, даже разговаривать на тему «Вольдемар», и через две недели скверного настроения утешилась с приехавшим старым знакомым — немецким майором.

— Он, к сожалению, не «фон» — говорила она Деминой, — и никогда бы не женился на мне, даже если бы не был уже женат, — но для чего я буду отказываться? Вольдемар нашел себе уже дюжину других. Это были только слова!

Бюро печати разбомбили во второй и третий раз. Пострадали только вещи, и Луизе прибавилось хлопот — устраиваться заново, и каждый раз все хуже. Шла осень и зима 1944 года. Тяжелое мутное небо набухло пылью развалин, каждый день или ночь — или и день и ночь — дробились под тяжелым налетом площади и дома. Зловещие вопли сирен разрывали время, останавливали поезда, трамваи и часы обычного хода жизни. Тикающий аккорд радиотелефона, включавшегося во время

налета, отмерял нудные, страшные, длинные часы ожидания бессмысленной смерти.

Но бомбовозы улетали. Гамма замолкала. Кто-то корчился и задыхался еще в погребах, а живые облегченно вздыхали, поднимались в полуразрушенные квартиры, забивали выбитые окна и ложились спать, или продолжали день, как всегда.

«Как всегда» — понятие тоже относительное. От него постепенно откалывались кусочки самоуверенности. «Как всегда» сжалось в довольно жалкий комочек бледнеющих с каждым днем, обреченных, и все-таки живущих людей. Все таки. Страх вылечил всех самоубийц. Театры и кино были переполнены, как бункера. Жизнь судорожными толчками бросалась во все стороны. Вперед шло только время, безжалостно обкрадывая последнее, что могло еще остаться — будущее.

Луиза прибежала вечером сразу после налета и схватила за руки.

— Что случилось? Опять разбомбили бюро?

— Нет, нет, все в порядке. Не пугайтесь, фрау Нина. Я получила открытку от Вольдемара. Он ранен, пишет, что не опасно, но надолго в лазарете. Просит, чтобы я приехала, и я уже говорила с шефом и была в полиции: вы же знаете, теперь нельзя ездить, надо разрешение. Я машу им открыткой и подсовываю чиновнику сигареты, и если бы он не дал, я бы в него вцепилась! Теперь все в порядке. Поезд завтра в одиннадцать, а сегодня я пришла к вам, чтобы рассказать и спечь в вашей духовке, у нас нет больше плиты. Как вы думаете: если он ранен в бедро, то может есть рыбу? Идемте на кухню, и я начну, а то опять налет...

«Теперь, — подумала Демина, когда через два часа болтовни, и выкручивания звездочек из теста, Луиза уложила свою сумку: — теперь я могу сказать твердо: «Вольдемар — погиб».

Пророчество подтвердилось. Луиза вернулась домой через десять дней, порозовевшая, похудевшая, взрываясь от полноты впечатлений, как ракета.

— Фрау Нина, привет от Вольдемара! Он вас так уважает! И скоро будет здесь. Как же ему одному лежать там, а я не могу бросить службу, особенно теперь, когда надо готовиться к свадьбе. Вы мне расскажите, как это у вас должно делаться.

— Жених приезжает в церковь верхом, а невеста лежит у него поперек седла, в знак того, что он украл ее от родителей, — совершенно серьезно сказала Демина.

— Правда?! А вы будете изображать родителей, и гнаться за нами позади?!

В голубых глазах Луизы доверие и восторг, она готова поверить всему. Демина перестает шутить.

— Рассказывайте по порядку. Как он ранен?

— Я говорила со всеми врачами, потому что, если верить ему, то он лежит вообще зря. Скоро они снимут гипс. но ходить еще нельзя, и вообще он будет хромать. Но казаки много не ходят, а на лошади это незаметно. Есть он может все, я накрыла ему столик скатертью, поставила цветы в вазочке...

— В вазочке?!

— Я взяла одну с собой, не дорогую, но очень миленькую, и готовила ему каждый день настоящий ужин. В лазарете кормят не плохо, но все таки это не домашний стол. Он написал мне еще три открытки, но они не дошли. Ну да, бомбежки здесь и отступление там... Я написала командиру его полка о разрешении на брак. Его не пошлют больше на фронт, армия отступает, чтобы собрать силы, но мы должны победить...

— Не на Одере, Луиза! — невольно вырвалось у Деминой. Луиза рассердилась.

— Фрау Нина, я тоже не хочу войны, и не делаю войны. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы должны ждать и верить, что нам говорят, и заботиться еще о том, что можно. Женщина никогда не должна терять здравого смысла.

Логика Луизы не допускала возражений.

Иностранным журналистам надоело переезжать из развалин одного отеля в другой, и они устроились на вилле в окрестностях Берлина. Вилла стояла в лесу. На клумбах под окном распускались подснежники и крокусы, в затянутых коврами комнатах всегда был наготове телефон, в гараже — автомобиль. Конечно, их предупредят во-время об опасности — они успеют уехать. И, конечно, это самое лучшее место для Вальдемара.

Его выпустили из лазарета, он ходил на двух костылях и капризничал, как все сильные, не привыкшие к бездействию мужчины. Луиза упростила шефа позволить ему поселиться в ее комнате: разве можно в такое время считаться с пустяками



и приличиями! Шеф махнул рукой. Конечно, русскому офицеру в германской форме было бы безопаснее теперь в тылу, но где теперь тыл?!

Есаул Каменский лежал на диване, листал непонятные журналы, писал от скуки письма товарищам. Все-таки лучше, чем в лазарете... Луиза надоедает со свадьбой... В конце концов можно и жениться. Советские войска в тридцати километрах. Но Берлин будут держать долго. Когда же будет пущено в ход новое оружие? Или это пропаганда только? Что же тогда? Журналисты успеют удрать, и он с ними. Надо податься к союзникам — те, конечно, поймут, что казаки воевали не против них. И все образуется. Только вот это проклятое бедро...

Деминым дали пропуск в Италию. Они уехали как-то внезапно. Луиза помогла им тащить на вокзал потрепанные чемоданы и качала головой.

— Беженская жизнь! Еще не так страшно, фрау Нина. Оставайтесь хоть на две недели — до моей свадьбы. Как же я буду венчаться без вас?!

— Венчаться вы можете и в Италии. Еще раз говорю вам, Луиза: положение слишком серьезно...

— Ах, фрау Нина, как будто шеф иностранной печати знает меньше, чем ваш генерал! Нечего разводить панику. Как Вольдемар поедет на своих костылях?! Поезда переполнены... Вот увидите, через месяц, два, мы приедем к вам в Италию, отправимся в свадебное путешествие...

Но через несколько дней после отъезда Деминых есаул получил приказ из штаба: «все казачьи офицеры и их семьи...»

Это было утром, и Луизе показалось, что разрывы артиллерийских снарядов стали как-будто ближе. Ну что ж, значит действительно серьезно. Нужно бросать работу: Вольдемар возьмет ее с собой. Невеста — это тоже семья. Нет нет, совершенно бесполезно уговаривать ее оставаться здесь и ждать конца войны.

На костылях он был беспомощен. Ухаживает за ним... пусть!

Шеф поехал после обеда в город. Луиза тщательно уложила чемоданы и сумки. Пригодиться может все, а приданое... ах, все эти новенькие замечательные вещи, скопленные на чердаке в Маркт-Швабене! Пока придется обходиться без них. Когда война кончится, можно будет и их взять. Завтра днем от-



ходит поезд. Не надо только беспокоиться, все очень просто в жизни.

Да, просто.

Шеф не вернулся к вечеру, телефон не звонил: опять, наверно, порвались провода. Придется разогревать ужин, когда он вернется...

По двум дорогам через лес, охватывая зажимом тихие фешенебельные виллы, шли советские танки. Бой проходил где то сбоку, за лесом, его не было слышно в общем привычном гуле, и так часто уже случалось, что какие-нибудь осколки разобьют стекла...

Виллы не сопротивлялись, у них не было пулеметов. Две сгорели, а остальные стали освобождать для команд и штабов на рассвете ясного апрельского дня.

Окно луизиной комнаты выходило в сад сбоку, оттуда не было видно подъезда, но есаул сразу проснулся от грохота в парадную дверь, и сразу понял. Луиза возмущенно выскочила вниз, подвязывая на ходу халатик. Кто это, что за безобразие?

Есаул невольно метнулся к окну и остановился. Второй этаж, костыли, бедро... махнул рукой. Может быть, германские солдаты, все-таки?

Проковылял к двери, осторожно приоткрыл ее, прислушался. В холле — срывающийся голос Луизы, ее смешные русские слова и окающая, знакомая речь.

«Товарищи»... донеслось на верх. Нет, это не РОА. Никаких сомнений. Как же так? Значит, так. Ну что ж, от судьбы не уйдешь. Шаги уже на лестнице...

Есаул хотел еще что-то вспомнить, но ничего не вышло. Только перекрестился наспех, прислушиваясь к треску ступенек, взял с ночного столика револьвер, вцепился зубами в дуло и вздрогнул от сверкающего, ослепительного взрыва...

Луизу взяли в том же халатике, только пальто успела накинуть, а допрашивали к вечеру. Она успела уже оправиться и вполне владела собой.

— Луиза фон Каменски, — твердо заявила она. — Я жена майора. Мы повенчались недавно и еще не успели переписать документов.

Она вспомнила лицо русского священника в Берлине, и ей казалось, что он благословляет ее. Она похудела за эти часы,

странно выпрямилась, и старалась держаться, подражая движениям Деминой.

— Да, он был ранен и жил здесь, мой муж. Я русская, мое имя Луиза фон Каменски.

Луиза прямо смотрела на советского офицера голубыми, чуть наивными, но смелыми глазами. Советский офицер напоминал ей Вольдемара, только был помоложе.

Она ничего не поняла, и думала, что ее ведут к другому офицеру, и потому не позволили взять вещей. Поняла только на дворе, в последнюю минуту.

— Я умираю, как мой муж, — успела сказать «казачья невеста». Шедший с нею солдат прикончил ее одним выстрелом, сразу.